



АЛЕКСЕЙ НЕБОХОВ

СОННЕР

Алексей Небоходов

Соннер

<https://litres.ru/74277448>

SelfPub; 2026

Аннотация

Леонид входит в чужие сны за деньги.

Школьный друг — мёртв. Утонул на Канарах, тело не нашли, на могиле — памятник в виде среднего пальца. Второй друг платит миллион за то, чтобы Леонид вошёл в его мёртвый сон и достал реквизиты офшорных счетов.

Леонид соглашается. Не из-за денег. Из-за того, что в этом сне может оказаться девочка, в которую все трое были влюблены в школе.

Москва, превращённая в карнавал. Мавзолей с её именем. Саркофаг, в котором она ждёт двадцать лет.

И то, что Леонид принесёт обратно в реальность, изменит всё.

Содержание

Глава 1. Выставка достижений похабного хозяйств	4
Глава 2. Проспект Мира	17
Глава 3. Мавзолей	33
Глава 4. Олег	51
Глава 5. Двойной ключ	66
Глава 6. Петербург мёртвого друга	77
Глава 7. Мертвый друг	94
Глава 8. Кладбище	107
Конец ознакомительного фрагмента.	110

Алексей Небоходов

Соннер

Глава 1. Выставка достижений похабного хозяйств

Леонид Каруселин открыл глаза в одно мгновение. Казалось, он только что закрыл их, и вот уже смотрит на мир — без перехода и медленного всплытия из глубин сна, словно кто-то щёлкнул выключателем в тёмной комнате и забыл предупредить жильца.

Во рту стоял привкус железа, густой и знакомый, один из тех, что не исчезают, а просто отступают вглубь, и Леонид привычно отодвинул это ощущение на задворки сознания, туда, где хранились вещи, которым не место проявляться при свидетелях. Тело сидело в жёстком пластиковом кресле, тяжёлое и чужое, со свинцовыми суставами и онемевшими пальцами.

«Дневной сон, редкий и дрянной, — подумал Каруселин. — Без образов, без глубины, провалился и всплыл, а между провалом и всплытием — ничего».

Для кого-то три секунды — пустяк, для Леонида — целая пропасть, в которую успело провалиться и вернуться сразу

несколько мыслей: что бабушкина квартира на Чистых прудах ждёт его уже третий час, что трещинка на потолке спальни за двадцать восемь лет не увеличилась, и что заваренный кофе в синем кофейнике с отбитым носиком давно остыл. Впрочем, кофе у Леонида всегда остывал — Василиса говорила, что он варит такую дрянь, что даже остывание идёт ей на пользу. И это имя, мелькнув, тут же ушло, как проходят мимо поезда на соседних путях — быстро мелькая, только тёплый ветер по лицу.

Вагон жил собственной вечерней жизнью. Грузная женщина лет сорока пяти удерживала на широких коленях пирамиду из трёх шуршащих пакетов «Перекры́стка», и полиэтиленовая пирамида покачивалась, когда вагон вздрагивал на стыках рельсов, но не падала. Рядом с женщиной сидел тощий подросток в массивных чёрных наушниках, а напротив, прижавшись широким лбом к холодному стеклу, дремал крупный мужик в рабочей куртке с выцветшей нашивкой «Мосводоканал» на рукаве, наверняка из тех, кто встал в пять утра и точно знает: дорога домой — единственный промежуток за сутки, когда можно выключиться.

Запах пришёл раньше мысли о нём. Каруселин всегда считывал пространство по запахам, как пёс, только на двух ногах и с ипотекой. Пахло резиной и сжатым людским теплом, а с соседнего сиденья тянуло дешёвым кофе из мятого стаканчика — из станционных автоматов, чей продукт никто не называл хорошим, но покупали все по принципу лотереи: а

вдруг в этот раз окажется ничего.

Из пыльного динамика донёлся механический женский голос, ровный и безучастный, как у секретаря суда, зачитывающего решение:

— Станция Алексеевская. Осторожно, двери открываются.

Тяжёлые створки разъехались, часть пассажиров вышла, новые заняли тёплые места, и створки сомкнулись.

— Следующая станция — ВДНХ, — механический голос утонул в шуме набирающего скорость состава.

Колёса мерно застучали на стыках рельс, и внутри Леонида тихо сработал внутренний переключатель. Цепкий взгляд скользнул по вагону: двенадцать человек, четверо сидят, восемь стоят, четыре комплекта дверей, аварийные люки по одному в каждом конце.

Работа. Для стороннего наблюдателя Леонид Каруселин выглядел самым обычным пассажиром: уставший, небритый, в чёрной куртке, сидит и смотрит в никуда, как половина Москвы после работы.

Кроме одного.

Леонид посмотрел на потолок, точно в ту точку, где за казённой серой краской прятался аварийный люк, невидимый для всех, кто не привык пересчитывать запасные выходы в чужих помещениях. Каруселин привык. Расстояние до люка, толщина металла и направление крышки — все эти сведения хранились в нём так же буднично, как номер бабушкиной

квартиры или рецепт кофе, который Василиса варила в медной джезве, а в конце добавляла щепотку соли и говорила, что без соли это не кофе, а горячее разочарование.

Поезд остановился, как холодильник, который отключили от электросети, — просто задрожал и встал, разом, и вся эта огромная самоуверенная система, казалось, обмякла в тоннеле. Колёса, завизжав тормозными колодками, замолчали, двигатель сдался, и в пустоте повис только гул вентиляции да настойчивое тиканье реле в невидимой кабине машиниста.

Каруселин откинулся на жёсткую спинку и сознательно расслабил плечи, так расслабляют мышцы перед прыжком. «Ничего страшного, — сказал профессионал внутри, ровно и сухо, словно читая инструкцию. — Московское метро принципиально не считает нужным информировать кого-либо о чём-либо и, кажется, гордится этим».

Грузная женщина в недоумении завертела головой, тощий подросток оторвал взгляд от экрана и снова вернулся к телефону, как кот, заглянувший под диван и решивший, что событие пока не достойно его внимания. Мужик из Мосводоканала продолжал спать. Этому, пожалуй, требовалось землетрясение баллов в восемь, чтобы прервать единственный за сутки отдых.

Негромкий мужской голос из середины вагона произнёс: — Что случилось?

Никто не ответил, и в набухшей загустевшей паузе грузная женщина впервые поставила свою пирамиду пакетов на

грязный пол, словно гравитация наконец предъявила счёт, и сжала крупные красные руки на коленях так туго, что пальцы побелели.

И тогда пришёл звук. Не капанье, не журчание, а рёв полноценного мощного потока, нарастающий, идущий снизу и снаружи одновременно, будто разом открылся древний шлюз глубоко под городом, и все старые, забытые трубы и коллекторы, о существовании которых не помнил, вероятно, даже мужик из Мосводоканала, разом выдали своё содержимое в этот конкретный участок.

За тёмными стёклами вагона мутная вода поднималась вдоль бетонных стен тоннеля, густая, почти чёрная, с хлопьями грязной белой пены и тёмным городским мусором, который бился о стёкла с тихим настойчивым постукиванием — так стучат в окно в три часа ночи: вежливо, но так настойчиво, что хочется не открыть, а задёрнуть штору.

Каруселин почувствовал запах раньше, чем увидел первую воду внутри вагона: ржавчина, мокрый бетон и что-то минеральное, древнее, поднятое с глубины, куда метрострой не докапывался даже в самые амбициозные свои пятiletки. К нему примешивался кислый животный запах адреналина и свежего пота, и Леонид отметил это холодно, по пунктам, не связывая с собственным телом.

Первые ледяные струи проникли внутрь. Они были тонкими, но настойчивыми ручейками, на ощупь пробиравшимися в щели, а через минуту уже хозяйничали на полу ваго-

на. Вода шла через микротрещины в старом металле, через стыки деталей и голую пористую сталь, где казённая краска облупилась, обнажив ржавчину и возраст.

Яркие жёлтые лампы погасли, и вместо них зажглись тусклые красные аварийные светодиоды, приглушённые, того мертвенного оттенка, при котором всё живое выглядит так, словно уже согласилось стать неживым. Лица пассажиров в красноватом полумраке утратили цвет и выражение, а руки, поручни и пластик сидений слились в одну бурую неразличимую массу.

Рядом с Леонидом сидела женщина. Не грузная с пакетами, а другая, которую Каруселин не заметил раньше или которой раньше не было — второй вариант казался более вероятным, и это беспокоило его значительно сильнее, чем можно было ожидать. Дама прижимала к себе маленького мальчика лет пяти в синей курточке, ребёнок смотрел на красный свет сухими широко распахнутыми глазами, не мигая, бесстрашно, как умеют только маленькие дети из тех, кого ещё не научили бояться.

Каруселин смотрел на ледяную воду и ждал. Та древняя часть его тела, которая принимала решения раньше головы, знала: это не техническая остановка. И единственное, что Леониду оставалось, — это признать то, что он признал, ещё когда открыл глаза и почувствовал железо на языке: он на работе, и работа началась.

Следом за водой пришла волной паника. Женский вскрик

оборвался на полуслове. Удар ладонью по стеклу прозвучал как выстрел стартового пистолета. Пассажиры вскочили с мест, бросились вдоль вагона, хотя никто не понимал, куда бежать. Двое мужчин пытались раздвинуть дверь, другие их останавливали... Вагон превратился в центрифугу из скользящих тел, и Леонид наблюдал за этим отстранённо, как опытный пастух наблюдает за стадом, в которое забежала собака.

Он не двинулся с места. Внутренний человек требовал встать, помочь. Профессионал молчал. Он знал кое-что, чего не знали остальные одиннадцать, и это знание держало его в кресле крепче любых наручников.

Чёрная вода поднималась. По щиколотку. По колено. Люди хватались за поручни, друг за друга, мокрые руки цеплялись за что угодно в нарастающем хаосе, где не осталось ни своих, ни чужих. Голоса менялись: вопросы, потом крики, потом протяжный вой в нечеловеческом регистре, при котором кричит уже не человек, а нечто древнее изнутри. Мужик из Мосводоканала колотил кулаком по запертой двери, и разбитые пальцы оставляли тёмные пятна на металле. Телефонные экраны мерцали в красном полумраке, кто-то набирал номер, кто-то фотографировал, а кто-то просто держал тёплый светящийся прямоугольник перед бледным лицом, как талисман, не потому что помогает, а потому что отпустить страшнее.

Внутренний человек попытался напомнить Леониду, что уходить — это не то, что делают приличные сорокалетние

мужчины в такой ситуации, и профессионал ответил ему двумя словами, теми, что Василиса оставила ему семнадцать лет назад вместо инструкции и объяснения, вместо прощания... Леонид встал на залитое водой сиденье одним плавным выверенным движением.

Длинные пальцы нашли шероховатый металлический обод люка, обжигающий холодом даже сквозь мокрую кожу перчаток. Леонид нажал на тугую ручку тихо и точно, уважая механизм, который был старше его самого. Люк поддался с глухим влажным звуком, после чего Каруселин подтянулся на руках. Мышцы спины и предплечий напряглись разом, один рывок потребовал усилий, накопленных телом за сорок лет жизни. Семнадцать из них ушли на работу, которая не требует силы, зато отбирает что-то другое, незаметно, пока однажды не обнаружишь, что брать больше нечего.

Темнота на крыше вагона была почти полной. Внизу, за тёмными стёклами, люди тонули. Леонид знал это тем чутьём, которое возникает, когда слишком долго занимаешься одним делом.

По скользким крышам вагонов можно было двигаться только так: короткие скользящие шаги, низкий центр тяжести и разведённые руки для баланса.

Шероховатая бетонная стена вертикального тоннеля выступила из темноты серой неровной плоскостью, и в ней торчали железные прутья, голые ржавые перекладки вместо лестницы, уходящие вверх, в непроглядную черноту. Кару-

селин схватился за первую холодную скобу, почувствовал, как мокрые пальцы соскальзывают, избавился от перчаток, перехватил, сжал сильнее и начал подъём.

Уставшие мышцы горели в той неумолимой последовательности, в которой измученное тело сдаётся по частям. На середине подъёма левая рука соскользнула, онемевшие пальцы потеряли хватку обыденно, без предупреждения, подошвы не удержались на скобе. Мгновение невесомости: одна рука в воздухе, тело зависло на другой руке над чёрной пустотой, а под ногами — только ровный глухой гул затопленного тоннеля.

Вниз он не посмотрел. Ноги нащупали утерянную опору, левая рука дотянулась до следующей перекладины, до которой в нормальных обстоятельствах не достал бы, побелевшие пальцы впились в ледяной металл отчаянно, извлекая силы из последнего резерва, приберегаемого организмом на крайний случай.

Верхний люк появился над головой тёмным квадратным силуэтом. Каруселин ударил снизу мокрой ладонью, старый люк сопротивлялся, потому что тугой механизм заржавел, заклинил, забыл, для чего существует, но потом откинулся с сухим щелчком. Леонид выбил его окончательно, резко, плечом, как выбивают заклинившую дверь, к которой уже подбирается пожар, и выбрался наружу.

Ослепительный белый свет ударил в глаза, и воспалённые веки зажмурились сами, раньше любого решения — тело

ещё не знало, что его ждёт, а глаза уже захлопнулись.

Каруселин оказался лежащим на спине на чём-то твёрдом, плоском и, главное, сухом, что на ощупь было асфальтом, и одно это тянуло на маленький праздник, который Леонид отметил тем, что позволил затылку коснуться тёплой шершавой поверхности.

Он вдохнул воздух без запаха ржавчины и без запаха страха. Просто воздух, холодный, свежий, с лёгким привкусом чего-то химического, как от ультрафиолетовой лампы, который тем не менее после всего, что было внизу, казался почти праздничным, как первый глоток воды после долгой жажды. Москва, которая должна была шуметь над головой гудками и голосами, молчала, и это молчание Каруселин заметил раньше, чем открыл глаза, потому что за семнадцать лет работы научился слышать неправильное быстрее, чем правильное.

На гудящие ноги он встал не сразу. Это был район ВД-НХ при ярком дневном свете, под солнцем, которое светило так, словно никакого затопленного метро не существовало ни сейчас, ни когда-либо ещё, и вообще, если верить этому солнцу, идея закопать железную дорогу под землю была не более чем курьёзным слухом. Небо было синим, не серым по-московски, а глубокого голубого цвета, почти средиземноморским, каким бывает только в рекламе авиакомпаний или в очень хороших снах.

Знакомый Проспект Мира тянулся в обе стороны. Дома стояли на привычных местах: панельные серые девятиэтаж-

ки, кирпичные приземистые пятиэтажки и новостройки, которые своим дорогим стеклом пытались выглядеть современно, но выглядели чужеродно, как подросток в отцовском костюме на школьном выпускном.

Всё стояло там, где ему и положено, но кое-что было не так, и именно поэтому у Леонида свело скулы — потому что пустота вокруг была абсолютной, словно из города аккуратно вынули всех людей, все машины и все звуки, оставив декорации: свет на сцене горел всюду, а смотреть было некому.

Проспект Мира лежал пустым, как заброшенная взлётная полоса. Абсолютная тишина, не отсутствие звука, а его замена безмолвием, словно звук списали актом, подшили в папку и заперли под замок.

Ветер гонял по пустому проспекту мятый белый пакет из супермаркета, как перекаати-поле в пустыне, которое катится не потому, что куда-то направляется, а потому что ветер есть, и невозможно ему не подчиниться.

Свет выглядел другим: слишком ровным, слишком сконструированным, как на дешёвой съёмочной площадке. Тени лежали на асфальте резкие, но чуть смещённые, чуть длиннее, чем полагалось в это время дня, солнце было сверху одновременно где-то сбоку, и это противоречие нельзя было объяснить никакой логикой, разве что тем, что логика здесь была другая. Воздух ничем не пах, ни едой, ни людьми, ни тем неистребимым московским запахом, который отличает этот город от любого другого. Нейтральный безвкусный воз-

дух герметичного помещения, обработанного ультрафиолетом.

Тем не менее город дышал, и это было самое странное: старые здания стояли, потемневшие светофоры все горели красным, а тусклые фонари были включены при ярком солнце. Всё жило своей механической замкнутой жизнью, как живут часы на руке у мёртвого человека — идут точно, безупречно и совершенно бессмысленно. Но людей не было. Ни живого, ни мёртвого, ни спящего, ни бодрствующего. Один город, старательно притворяющийся настоящим.

Каруселин медленно обвёл взглядом знакомые фасады, тёмные зашторенные витрины, пустые остановки, мёртвые перекрёстки и остановился на том, на чём и должен был остановиться: постамент у северного входа на ВДНХ.

Он стоял огромный, знакомый каждому москвичу старше тридцати, увенчанный скульптурой, когда-то бывшей символом эпохи, страны и мира, которого больше нет. «Рабочий и колхозница», мужчина и женщина, застывшие в победном порыве с серпом и молотом над головами, устремлённые в светлое будущее, которое с тех пор заметно потускнело.

Постамент никуда не делся, масштаб прежний, нержавеющей сталь блестела на солнце холодным полированным блеском. Но вместо знакомых фигур рабочего и колхозницы на постаменте стояло кое-что другое.

Огромная левая человеческая рука, поднятая вверх и сжатая в кулак, за исключением среднего пальца, вытянутого

вперёд и вверх под углом примерно сорока пяти градусов. Фак, средний палец, жест, который в переводе не нуждается и означает ровно то, что означает: пошёл на хрен, мне на тебя плевать — и ещё с десятков грубых вариаций на тему полного и безоговорочного неприятия.

Стальная рука была сделана из той же нержавеющей стали, с теми же полированными бликами и в том же масштабе, что и знаменитая скульптура — двадцать четыре метра от основания до кончика среднего пальца, смотрящего ровно туда, куда смотрел оригинал: на Проспект Мира, на приближающихся посетителей, которые в реальном мире фотографировались бы на фоне исторического памятника, а в этом мире могли бы фотографироваться на фоне исторического жеста, если бы в этом мире вообще было, кому фотографироваться.

Каруселин стоял с приоткрытым ртом. Угловатое лицо не выражало ничего: ни шока, ни удивления, только узнавание, мгновенное и безошибочное, как почерк школьного друга на полях старой тетради, которую не открывал двадцать лет. Потом что-то дрогнуло в углах обветренных губ.

— Ну и псих же ты, Юрка, — сказал он тихо, почти нежно, не обращаясь ни к кому.

Леонид засунул озябшие руки в глубокие карманы потёртой куртки и двинулся вперёд.

Глава 2. Проспект Мира

Проспект Мира протянулся перед Леонидом длинной прямой лентой, по которой можно было идти до самого центра, не сворачивая и не выбирая маршрут, просто переставляя ноги, как обходят чужое хозяйство после похорон хозяина, проверяя, всё ли стоит на прежних местах.

Руки привычно утонули в глубоких карманах осенней куртки. Плечи чуть ссутулены, шаг ровный, неторопливый, выверенный годами работы в местах, где любое ускорение считается как паника, а паника на чужой территории стоит дорого.

Пустота вокруг была абсолютной, но не хаотичной, а именно организованной, словно кто-то старательно вымел из города всё живое и составил аккуратный протокол: людей — убрать, машины — убрать, голоса — убрать, птиц — убрать, даже запах бензина — убрать. Светофоры переключались с привычным интервалом неизвестно для кого, честно мигая зелёным и красным в пустоту перекрёстков. Где-то далеко за домами гудел невидимый транспорт, ехавший по пустым дорогам без пассажиров и водителей, как заведённая и забытая механическая игрушка.

Белый пластиковый пакет из «Перекрёстка» перекачивался через шестиполосный проспект на лёгком ветру — единственное живое движение в застывшем городе. Леонид про-

водил его цепким взглядом и отметил машинально: ветер дул по привычным физическим законам, пакет летел по предсказуемой траектории, тени падали в правильную сторону. Физика держалась. Вычистили из неё только человеческое.

Рижский вокзал Леонид узнал по силуэту — массивное здание с тяжёлыми колоннами и пышной лепниной сталинской эпохи. Знакомые пропорции не тронуты, но материал переложили: весь фасад оделся в белый мрамор с серыми прожилками, отполированный до зеркального блеска, как надгробие нувориша, так и не научившегося отличать хороший вкус от дорогого.

Из центрального входа, между колонн, к проспекту вытекал тонкий ручей. Не вода. Мутная жидкость с резким запахом аммиака и хлорки, знакомым любому, кто хоть раз пользовался вокзальным туалетом. Писсуар размером с железнодорожный вокзал, содержимое которого стекало на главную магистраль столицы, как если бы столица этого заслуживала.

Леонид остановился у края ручья. Морщина между тёмных бровей появилась не от отвращения. Бывало и гаже. Это была морщина узнавания, как морщатся, учуяв чужие духи: не потому что воняет, а потому что чужое, слишком чужое и одновременно слишком знакомое. Юрка при жизни однажды битый час рассказывал, как его на Рижском обокрали, и в рассказе фигурировали именно привокзальный туалет и бабушка-уборщица, которая, по Юркиным словам, выглядела так, будто охраняет портал в преисподнюю. Мёртвые стро-

ят свои сны из того, что помнят, а помнят, как правило, ерунду.

Каруселин перешагнул ручей одним широким шагом, не замедляясь. Та часть Леонида, которая привыкла работать, отметила конструкцию — детализацию, устойчивость запаха и физику — и двинулась дальше. Другая часть, та, что оставалась человеком, задержалась на секунду, потому что мёртвый друг, построивший этот дворцовый писсуар, при жизни терпеть не мог общественных туалетов и носил в кармане антисептик, как другие носят ключи.

Здание Управления метрополитена сохранило фасад, но внутри вместо помещений зиял бассейн, заполненный той же мутной жижей. По поверхности плавали игрушечные поезда: красные, синие и зелёные — как кораблики в ванне у ребёнка, который вырос, разбогател, умер, но так и не придумал себе развлечения интереснее. У входа висела табличка в официальном стиле метрополитена, казённый шрифт гласил: «Глубина погружения — по настроению».

Олимпийский стоял на месте, но вместо крыши над чашей стадиона натянули женские чулки исполинского размера, а между ними на бельевых верёвках сушилось бельё: трусы размером с палатку, лифчики, похожие на гамаки, в которых можно было укачивать взрослого человека, и колготки, развевавшиеся на ветру, как флаги несуществующего государства, чей герб тоже не прошёл бы цензуру.

Леонид запрокинул голову, рассматривая гигантское

нижнее бельё, и у него вырвалось то, что прозвучало уже не в первый раз.

— Юрка, ты больной, — сказал он вполголоса, засунув руки глубже в карманы.

Это давно превратилось в ритуал. Обращение к мёртвому другу, который молчит, но с каждым кварталом этого вывернутого наизнанку города доказывает, что ещё не наговорился. Профессионал внутри Леонида попытался напомнить, что разговаривать с мёртвым методологически бесперспективно, но был послан тем же жестом, который показывал всей Москве Юркин памятник на ВДНХ.

Фонтан на Сухаревской площади бурлил густой пеной — по кислому хмельному запаху — дешёвое пиво, из тех, что Юрка пил исключительно в поезде, утверждая, что в поезде даже эта дрянь становится напитком богов. Скульптурная группа в центре изображала пятерых мужчин в костюмах-тройках, которые стояли в тесном кругу и блевали, методично, непрерывно, с выражениями лиц совета директоров на годовом собрании, где квартальные убытки оказались хуже прогноза. Один из каменных бизнесменов повернул голову, и пустые глазницы упёрлись в Леонида, но деловое выражение не дрогнуло. Рабочая часть сознания Каруселина фиксировала: подвижные элементы, реакция на присутствие. Мёртвый сон, который ведёт себя как живой, а это редкость: обычно мёртвые пространства затухают за пару лет, как выцветает старая фотография, лёжа на подоконни-

ке. Юркин сон не выцветал. Юркин сон хорохорился.

Сретенка была увешана рекламными щитами: голая женская задница в золотой барочной раме, подпись — «Духовные скрепы». Реклама чего — не уточнялось. Впрочем, Юрка никогда и не уточнял, над чем смеётся, полагая, что если объяснять шутку, она умирает. А он и так уже умер, и шутки его пережили, развешанные по городу, как бельё на Олимпийском.

Жёлтое здание на Лубянке удивило неоновой вывеской «SEX SHOP» и надписью «Добро пожаловать. Мы всё о вас знаем» — здесь усмешка Леонида стала шире, чем за весь маршрут. Эту шутку он оценил отдельно, потому что она была не про пошлость, а про страх, и Юрка, который сам боялся только одного — быть увиденным настоящим, — понимал это про других лучше, чем кто бы то ни было.

Большой театр сохранил фасад, только вместо Аполлона на колеснице над ним возвышалась скульптура из белого камня: женщина верхом на мужчине в позе, не оставлявшей сомнений в сюжете. Афиши обещали: «Лебединое озеро. Порно-балет. Ежедневно в 19:00». Леонид поднял глаза: техника исполнения скульптуры была безупречной, достойной резца Микеланджело. Только натурщики позировали явно не для Сикстинской капеллы, а для заведения этажом ниже, о существовании которого Ватикан предпочитает не вспоминать.

Каждый квартал этого города был словно отпечатком

мёртвого пальца на холодном стекле. Юрка Шустровиков превратил Москву в выставку достижений похабного хозяйства, и в каждой шутке звенело одно и то же: мальчик, который обесценивал весь мир раньше, чем мир успевал до него добраться. Леонид знал это двадцать с лишним лет, с тех школьных времён, где коренастый загорелый Юрка острил на каждом уроке, чтобы не думать о том, что осталось дома. Юмор, цинизм, балаган — всё шло в дело, лишь бы никого не подпустить близко, а за этим нечего было прятать, кроме нежности, которую некуда деть.

Мальчика давно нет. Взрослый утонул. Остался этот город, и Леонид шёл по нему, засунув руки в карманы, и каждый его шаг был шагом по чужому некрологу, написанному мочой, пивом и полированным мрамором.

От Большого театра до Красной площади оставалось немного, и Каруселин использовал это расстояние, как использовал любое время в дороге: для инвентаризации. Не багажа. Себя. Кто он, где, зачем, что может сделать, если что-то пойдёт не так.

Пустой город задавал ритм: шаг по брусчатке — мысль, перекрёсток — воспоминание, и снова шаг...

Ему было сорок лет, и все сорок он прожил в бабушкиной квартире на Чистых прудах, Чистопрудный бульвар, дом 12, корпус 4, второй этаж, квартира 86. Сталинский дом, жилой, для обычных людей, с потолками обычной высоты, паркетом, тёмным от времени и бабушкиных каблучков, с зелёны-

ми обоями в мелкий цветочек, которые в девяносто втором поклеили двое молчаливых мужиков из ЖЭКа, пока бабушка стояла в дверях и следила, чтобы не пузырилось.

Официально Каруселин числился журналистом The Moscow Post. Пресс-карта, декларации, статьи — две-три в месяц, темы — скучные: благоустройство, культурные центры, чиновники среднего звена. Никто не задаёт лишних вопросов тому, кто пишет про благоустройство.

На самом деле Леонид был соннером. Одним из тех, кто входит в чужие сны осознанно, сохраняя память и контроль, как другие сохраняют равновесие на велосипеде: тело помнит, даже когда голова забывает. Тех, кто мог зарабатывать этим на жизнь, на всю страну набралось бы на одно купе плацкартного вагона, и все друг друга знали если не в лицо, то по почерку.

Красная площадь открывалась перед ним постепенно, сперва только углом кремлёвской стены, красным кирпичом в просвете между зданиями, потом шире. С каждым шагом пространство раздвигалось, кремлёвские стены росли выше, а брусчатка под подошвами ложилась плотнее, чем весь пустой город за спиной.

Вдруг вспомнилась Василиса. Имя, которое он никогда не произносил вслух, но думал о нём каждый день, как думают о зубной боли: не хочется, да куда денешься.

Познакомились через бывшую жену: Леониду тогда было двадцать три, жена лежала в гинекологии, Василиса — её со-

сидка по палате. У Василисы был голос чуть ниже обычного, с хрипотцой, как будто только что проснулась, даже среди дня, и смех, от которого жена впервые за месяцы улыбалась. Потом жена изменила Каруселину с лифтёром из их подъезда, Леонид узнал глупо, по-киношному застав любовников на «месте преступления», и тогда казалось, что главная боль — именно эта, хотя потом выяснилось, что боль бывает значительно изобретательнее. Василиса встала на его сторону, осталась рядом, когда все ушли. Дружба без подтекста, без обещаний, без мелкого шрифта внизу страницы.

Василиса первой поняла, кто он такой. Сидели на её кухне, маленькой, с плитой «ЗИЛ» и круглым столом, на котором от кружек остались светлые кольца, как годовые кольца дерева, только считавшие не годы, а разговоры. Она варила кофе с солью в медной джезве. «Кофе без соли — это просто горькая вода, Лёнь», — говорила она, и он сначала морщился, а потом привык и не мог пить по-другому. Потом начались сны, слишком яркие, слишком подробные, и Василиса кивнула спокойно, как кивают врачи, когда пациент наконец описывает симптомы, которые они давно заметили сами.

Она открыла для него мир снов, войдя в его собственное сновидение. Леонид проснулся с её голосом в ушах, с запахом лаванды, которой не было в спальне, и с пониманием, что всё, что он считал возможным, было детской игрой по сравнению с тем, что существовало по другую сторону закрытых глаз. Василиса научила его всему: как натягивать

внутреннюю тетиву перед засыпанием, как переходить границу, мгновение невесомости, как преодолевать плотность чужого воздуха, чужой свет, рассказала другие правила: как отличать правду от проекции и не утонуть в чужом счастье, которое бывает опаснее любого кошмара.

Потом она погибла. О подробностях Леонид запрещал себе думать, и запрет этот был из тех, которые не нарушают. Дверь заперта на семь замков и помещена в такое место памяти, куда он заходил только по крайней необходимости.

Семнадцать лет. Её сны ещё существовали где-то в глубинах коллективного бессознательного, медленно растворяясь в том, что он называл архивом. В них можно было войти, он помнил их запах: лаванда и что-то книжное — старая бумага, клей и кожаные переплёты, запах, который бил точнее любого пароля. Но он не позволял себе. Вместо этого он выработал ритуал: раз в месяц заходил парфюмерный магазин, находил флакон на дальней полке, который можно было открыть, вдохнуть и закрыть... А затем уйти с пакетом, где лежали духи, которые не нужны, а те, которые были нужны так, что иногда перехватывало дыхание, — те оставались на своём месте.

Леонид варил кофе по её рецепту семнадцать лет и ни разу не попал в пропорцию: либо подсолённая горечь, либо горький рассол, либо жидкость, которую он сам затруднялся классифицировать. Василиса бы сказала: «Лёнь, это не кофе, это месь». Но Василисы не было, и он продолжал варить

его каждое утро на той же кухне, в той же джезве, как продолжают писать письма давно умершим: не потому что ждут ответа, а потому что нужно продолжать жить.

И здесь, посреди удвоенной Красной площади, где Мавзолей стоял на правильном расстоянии от Спасской башни, но само расстояние растянулось, сохранив пропорции и удвоив масштаб, здесь и поднялось то единственное, о чём Леонид молчал даже в собственных снах, потому что соннер, проговорившийся во сне, проговаривается по-настоящему. Теряет свой главный секрет.

Каруселин был единственным на земле, кто мог вытаскивать предметы из снов в физическую реальность. Не информацию. Информацию извлекали все соннеры, это было ремесло, хлеб, квартплата, относительно чистая совесть. Леонид вытаскивал вещи: ключи от сейфов, существовавших только в снах, документы из чужого подсознания и фотографии, которых не существовало нигде, кроме памяти, потому что у памяти нет кнопки «удалить», есть только «забыть», а это совсем не одно и то же.

Однажды, после выхода из сна киллера, в его руке материализовался пистолет: тяжёлый, тёплый, с серийным номером и чужими отпечатками. Леонид стоял посреди спальни, босой, в трусах, с оружием убийцы в руке, и выглядел как персонаж анекдота, в котором мужик просыпается и не может объяснить жене, откуда пистолет. Жены уже не было, объяснять было некому, и от этого было не легче, а тяжелее. В ту

же ночь он стёр свои отпечатки с пистолета кухонным полотенцем и выбросил его с Крымского моста, и Москва-река проглотила оружие молча, не переспрашивая.

О его даре знала только Василиса, потому что у неё был такой же. Их, таких, было всего два человека на планету, и они нашли друг друга через бывшую жену в гинекологии. Бог, если он существовал, обладал чувством юмора, достойным Юрки Шустровикова: свести двух уникалов у койки отделения с табличкой «Гинекология». Это надо было придумать. Теперь Василиса мертва, и Леонид остался единственным, с секретом, от которого любая спецслужба пришла бы в состояние, которое в деликатных кругах называется «повышенным интересом», а в неделикатных — охотой.

Сейчас Леонид был просто соннером, полезным, но заменимым, как хороший слесарь: ценят, пока кран течёт. Тот, кто вытаскивает из снов физические предметы, уже не слесарь, а ключ от всех кранов, и такой ключ нельзя ни скопировать, ни купить, ни отобрать у владельца. Только вместе с владельцем. Леонид это понимал без иллюзий. Поэтому молчал.

Каруселин научился жить с этим, как живут с миной под крыльцом: не наступая на третью ступеньку и каждое утро проверяя, не проржавел ли взрыватель. Каждый выход из чужого сна с пустыми руками был маленькой победой над собственным даром, который скулил и просился наружу, как собака, запертая в квартире, когда за дверью отчётливо пахнет

кошкой.

Но даже без секрета за семнадцать лет набралось достаточно заказов, чтобы понять, где проходит граница между профессионализмом и подлостью.

На Леонида вышли серьёзные люди через цепочку рекомендаций, каждое звено которой стоило кому-то репутации, а некоторым — значительно дороже. Бывшие силовики, переквалифицировавшиеся в консультантов по безопасности. Волки в овчарочьих ошейниках, порода та же. Люди, для которых невозможное было не чудом, а строчкой в смете.

Самый грязный заказ был про имплантацию чужой идеи. Жена олигарха должна была развестись и отказаться от алиментов, не принуждение, не шантаж, всё тоньше: идея, которая приходит каждую ночь, пока не начинает казаться собственной. Леонид входил в её сны двадцать ночей подряд, подсаживая чужую мысль, как подсаживают кукушонка в чужое гнездо. Женщина ушла в монастырь с чувством, что нашла призвание. Никаких алиментов. Заказчик заплатил двойную ставку, а Леонид купил на эти деньги джип и не смог на него сесть, физически, как будто сиденье было раскалённым, и продал через месяц, потому что есть вещи, от которых нужно избавляться быстрее, чем они начинают пахнуть. По рабочей шкале заказ был выполнен. По любой другой — это была кража свободной воли, и слово «кража» потом не отлипало месяцами. Леонид с тех пор не возвращался к этому заказу мысленно, обходил его, как обходят пустую

комнату, где однажды случилось что-то нехорошее.

Другой заказ закончился иначе. Олигарх подозревал жену в измене, Леонид вошёл в её сны и увидел правду: изменяла с водителем мужа, банально, как в сериалах, которые домохозяйка смотрит на кухне. Но увидел и другое: олигарх бил жену, регулярно, расчётливо, оставляя синяки только там, где платье закрывает. Женщина искала не любовника, а кого-то, рядом с кем можно заснуть, не боясь проснуться от удара. Леонид соврал заказчику, вернул деньги молча, и олигарх больше не звонил, то ли понял, то ли решил не трогать того, кто возвращает деньги и молчит: от таких держатся на расстоянии «вытянутого адвоката».

Попадались и чистые работы, их было большинство: войти в сны участников переговоров, прочитав реальную позицию, красные линии. Никого не обманывать, ничего не подсаживать, просто знать чуть больше, чем сказали за столом. Заказчик строил заводы, давал людям работу, все оставались в плюсе, и по утрам Леонид мог пить свой неудавшийся кофе, не отводя глаз от собственного отражения в чёрной поверхности чашки, где отражение тоже не отводило глаз.

Как-то раз вдова попросила войти в сон убитого мужа: последние воспоминания иногда сохраняются, ещё тёплые, ещё не потерявшие форму, и в них можно войти, пока не остыли. Леонид вошёл, увидел лицо убийцы, имя заказчика, рассказал вдове. Заказчика посадили. Но сны мёртвых липкие, они цепляются к живому сознанию, как мокрая глина.

Тот случай стоил ему месяца кошмаров, в которых он умирал каждую ночь чужой смертью. С тех пор к покойникам Каруселин не ходил, предпочитая потерять деньги, а не рассудок.

Репутация его сложилась сама: профессионал с собственными границами, дорогой, надёжный и берущийся не за всё. Этого хватало, чтобы спать почти спокойно, с поправкой на фантомный пистолет в правой руке и на кофе, который за все эти годы он так и не научился варить.

Мавзолей уже виднелся впереди, тёмно-красный мрамор на фоне кремлёвской стены, и Леонид шёл к нему, и в голове всплывало то, что он предпочитал держать на дне. Думать только об одном Юрке не получалось, потому что Юрка сам по себе не существовал, он всегда был частью тройки, и стоило потянуть за одно имя, как вытаскивались остальные два, сцепленные намертво, как звенья дешёвой цепочки, купленной в ларьке на школьном дворе.

Их было трое: Леонид Каруселин, Олег Морозов и Юрий Шустровиков, одна парта в седьмом, один подъезд в девятом и один институт в одиннадцатом. Их дружба началась с того, что Юрка дал Леониду списать контрольную по химии, а Олег прикрыл обоих от учительницы. И с этого момента что-то встало на место так прочно, что ни один из троих потом не мог вспомнить, как обходился без двух других. После института Олег и Юрка создали IT-компанию, через десять лет она стала одной из крупнейших в стране, офисы в семи

городах, полторы тысячи сотрудников. Олег занимался стратегией, Юрка — финансами, сработались идеально, чего их школьная учительница по химии точно бы не предугадала.

Юрка утонул на Канарских островах полгода назад, пошёл купаться один, как ходил всегда, потому что Юрка Шустровиков делал всё один, даже тонул. Памятник на Ваганьковском поставили по его завещанию: чёрный гранит и бронзовый средний палец, а на камне — надпись: «Юрий Шустровиков. Всем привет». Завещание было составлено безупречно: Юрка заранее знал, что после смерти на его могиле захотят поставить что-нибудь приличное, и принял меры.

Два месяца назад Олег нанял Леонида, не как друга, а как профессионала. Офшорные счета компании были закрыты двойным ключом: одна половина кода хранилась у Олега, вторая у Юрки, и Юркина половина утонула вместе с хозяином. Деньги оказались заморожены так надёжно, будто Шустровиков специально позаботился, чтобы и после его смерти никому не было легко. «Войди в его мёртвый сон, найди вторую половину», — сказал Олег так, как заказывают аудит или сантехника: без сантиментов, с конкретной суммой и сроками.

И уже подходя к Мавзолею, Леонид не мог не думать о Лене Крутовой, однокласснице, в которую были влюблены все трое — тихо, яростно и безнадёжно, как влюбляются в школе, когда ещё не знаешь, что это пройдёт, и поэтому не торопишься, а в итоге опаздываешь навсегда. Тёмные воло-

сы до плеч, смех, слышный через два коридора, привычка отвечать на вопросы вопросами. Никто не решился ей признаться, потому что каждый боялся, что она выберет другого и дружба лопнет по швам, которых не зашить. Три года ходили вокруг неё, а она не замечала или делала вид, что не замечает.

Лена вышла замуж за парня из другого района, развелась, родила дочку, а потом погибла: автокатастрофа на Ленинградском шоссе, пьяный на встречной, смерть мгновенная, как точка в предложении, которое не дописали до конца. На похороны они пошли втроём, стояли под октябрьским дождём, и каждый думал одно: что должен был сказать ей раньше, и что теперь — некому.

Леонид мысленно произнёс имя «Лена» и тут же захлопнул эту дверь — не в чужом сне, где сильное чувство перекраивает пространство, как землетрясение перекраивает береговую линию.

Каруселин поднял голову, и мысли оборвались сами.

На красном мраморе Мавзолея тем же казённым шрифтом, которым десятилетиями было начертано имя человека, перевернувшего страну вверх дном, стояли четыре буквы: «ЛЕНА».

Глава 3. Мавзолей

Леонид читал буквы по одной, как читают приговор, когда уже знаешь, что написано, но надеешься, что глаза врут. Л-Е-Н-А. Четыре красные буквы на чёрном мраморе, тем самым шрифтом, на том же месте, где десятилетиями красовалось имя человека, известного всей стране — от мала до велика. Ни объяснений, ни оправданий, ни скидок. Просто имя девочки из десятого класса на самом сакральном здании главной площади страны.

Что-то дёрнулось в углу рта. Сначала тихо, как подёргивается веко от бессонницы. Потом сильнее, губы растянулись, морщины разбежались от глаз к вискам, и из груди вырвался звук, который Леонид не издавал, кажется, лет пятнадцать. Не весёлый и не радостный — совсем другой. Смех человека, понявшего анекдот двадцать лет спустя и обнаружившего, что анекдот-то про него самого.

Соннер хохотал посреди пустой Красной площади, как единственный зритель в кинотеатре, которому показали самый смешной и самый грустный фильм одновременно. Эхо отлетало от кремлёвских стен, возвращалось удвоенным, гулким, отражаясь от стен ГУМа, и гасло на брусчатке.

Юрка Шустровиков завещал памятник себе в виде среднего пальца, превратил Рижский вокзал в мраморный писсуар, а Лубянку — в секс-шоп с неоновой вывеской, устроил

из целого города выставку достижений похабного хозяйства, а девочке из десятого класса построил персональный мавзолей и не позволил себе ни единой грубой шутки. Вот это было по-настоящему страшно.

Леонид согнулся пополам, вцепившись пальцами в колени. Под рёбрами болело от спазма диафрагмы, слёзы текли по щекам — не от горя и не от радости — от чего-то третьего, для чего и названия-то не придумали.

Площадь терпеливо ждала. Ветер гнал по камням мятый пакет из «Перекрёстка», и его настойчивое шуршание было единственным звуком в мёртвой Москве, кроме хохота сорокалетнего мужика, который наконец понял своего умершего друга.

Оказалось, было одно место, где Шустровиков не шутил, и одно имя, написанное без усмешки. Лена Крутова из десятого «А» получила собственный мавзолей в самом центре Юркиного подсознания, и это было единственное по-настоящему серьёзное, что он сделал за всю жизнь. Соннер шмыгнул носом и вытер глаза рукавом. Чем сильнее любовь, тем тише мавзолей.

Хохот оборвался так же внезапно, как начался. Леонид выпрямился, провёл ладонью по лицу и посмотрел на красные буквы. Теперь они выглядели иначе — надгробная надпись, которую некому прочесть.

Соннер сглотнул — в горле стояла сухая горечь, привкус железа и камня, тянувшийся с пробуждения в вагоне, затоп-

ленном впоследствии. Весь похабный город, все монументальные непристойности оказались крепостной стеной вокруг единственного места, куда нельзя пускать чужих, где нельзя смеяться, где полагается просто стоять и помнить.

Три мальчишки из одного класса и одна девочка с тёмными волосами и голосом, который было слышно через два коридора. Двое мертвы, один утонул у Канарских островов, другая разбилась на Ленинградском шоссе. Третий стоит в чужом сне и смотрит на всё, что осталось от их общей юности, на четыре красные буквы на чёрном камне.

Леонид сунул озябшие руки глубоко в карманы куртки. Пальцы нащупали мелочь, ключи и мятую пачку жвачки — мелкий мусор нормальной жизни, которая шла где-то за пределами этого сна. Жизнь журналиста с Чистых прудов: налоги, соседи и привычка покупать молоко на углу.

Внутренний профессионал напомнил о деле тихо, как наминает будильник на телефоне: время в мёртвых снах ограничено, пространство деградирует. Войти, получить информацию и выйти. Без задержек.

Внутренний человек послал внутреннего профессионала туда же, куда Юрка послал весь город.

Потому что стоял Леонид не перед очередным субъектом в деловом костюме, а перед мавзолеем девочки, которую любил в школе. Она умерла, так и не узнав. Пора было спускаться.

Гранитные ступени, отполированные миллионами ног до

зеркального блеска. Перила из того же камня, холодные под ладонью, и холод этот не уходил, сколько ни держи руку. Здесь не было охранников, ограничительных верёвок на столбиках и туристических групп с гидами. Только шаги, эхо и тишина, давившая на уши, как вода на глубине.

Воздух густел с каждой ступенью, словно каждый кубометр вмещал больше времени и памяти, чем положено воздуху. Пахло камнем, минеральной чистотой подземелий, где никогда не бывает солнца.

Свет шёл сверху, приглушённый, того тёплого оттенка, который в музеях используют для подсветки особо ценных экспонатов. Центральный зал открывался постепенно, сначала арочный проём, потом пространство, рассчитанное на сотню людей, но пустое, гулкое, с привкусом запертого воздуха. Вся эта архитектура была выстроена ради одного — саркофага в центре. Столько гранита на одну девушку не расходовали со времён фараонов, но те хотя бы были при жизни в курсе.

Леонид остановился в трёх шагах. Саркофаг был вырезан из чёрного гранита, гладкого, как залитый водой лёд. Крышку — толстое прозрачное стекло без швов и стыков — словно выдули из единого куска расплавленного кварца. Под стеклом на белой атласной подушке лежала Лена, ровно такой, какой её запомнили в восемнадцать, когда трое мальчишек из десятого «А» считали её центром мироздания, а она считала их тремя идиотами и, надо признать, не ошибалась.

На ней была школьная форма образца девяностых: коричневое шерстяное платье с белым воротничком, белый фартук, чёрные колготки. Волосы тёмные, почти чёрные, расправлены по подушке симметричными волнами, не так, как носила настоящая Лена, вечно ходившая растрёпанной, а так, как посчитали необходимым парикмахеры.

На безымянном пальце блестело серебряное колечко с маленьким камешком, из тех, что покупали в ювелирных отделах универмагов за бесценок. Живая Лена украшений не носила, говорила: мещанство и показуха. Юрка добавил кольцо сам. Леонид почти видел, как Юрка ковыряется в витрине универмага, выбирая камешек поприличнее.

Лицо было узнаваемым — вздёрнутый нос, полные губы, но слишком гладкое, слишком выверенное. Выглядела она так, как выглядят люди в чужих воспоминаниях: немного лучше, чем были на самом деле, и значительно мертвее. Если бы похоронные бюро принимали заказы от влюблённых идиотов с неограниченным бюджетом подсознания, результат выглядел бы именно так.

Соннер стоял над саркофагом и вспоминал настоящую Лену. Как она смеялась, запрокидывая голову и открывая рот так широко, что были видны дальние зубы. Как пела в школьном хоре — фальшиво, но с таким энтузиазмом, что учитель музыки не решался сделать замечание и только хватался за сердце. Как грызла кончик ручки на контрольных, и половина мальчишек в классе мечтала оказаться этой руч-

кой, хотя никто не признался бы в этом даже под присягой.

Дешёвый клубничный шампунь за двадцать шесть рублей из киоска у метро. У всех девочек в классе волосы пахли одинаково, но только от Лены отдавало свежестью настоящей клубники в июле. Леонид помнил этот запах лучше, чем собственный адрес, хотя двадцать лет он прожил в полной уверенности, что давно всё забыл.

Ничего этого в саркофаге не было, там лежала конструкция, собранная по фотографии и тоске, красивая, выверенная и неживая.

Внутренний профессионал принялся каталогизировать увиденное с энтузиазмом бухгалтера, обнаружившего чужую ведомость с ошибкой в третьем знаке после запятой. Симулякр высокого качества, конструкция из памяти сновидца. Активация по архетипическому принципу, спящая царевна, поцелуй принца. Логика сновидений, работающая безотказно уже несколько тысяч лет.

Внутренний человек сопротивлялся. Не хотелось целовать Лену ради банковских реквизитов. Но человек проиграл профессионалу ещё семнадцать лет назад, когда Василиса ушла и сказала ему после смерти, во сне, два слова: «Дальше — сам». С тех пор эти два слова покрывали вообще всё, включая поцелуи в саркофагах посреди порнографической Москвы.

Леонид наклонился над саркофагом. На самом краю обоняния проступал клубничный шампунь за двадцать шесть

рублей, и этот запах бил точнее любого пароя.

Соннер поднял крышку — она оказалась невесомой, как музейный камень, изготовленный из картона — и наклонился. Губы у Лены были сухие, неподвижные, с привкусом минеральной пыли. Примерно так же романтично было бы поцеловать надгробную плиту, и если бы у соннеров существовал профсоюз, Леонид точно подал бы жалобу на условия труда.

Соннер начал выпрямляться и почувствовал, как чьи-то пальцы сжались на его затылке. Лена держала крепко, не отпуская. Губы, которые мгновение назад были сухими, ожили требовательно, почти сердито, будто наверстывали двадцать лет молчания.

Лена открыла глаза, карие, яркие и живые, и первое, что она сказала, прозвучало так, словно они виделись вчера, а не двадцать лет назад:

— О, Лёнька. Я уже думала, ты никогда не придёшь. Вот ведь правду говорила: в гробу перевернусь, если меня Каруселин поцелует.

Она села в саркофаге без малейшей торжественности, поправив сбившийся фартук, и оглядела зал с откровенной, безнадежной скукой на лице.

— Сколько тут лежала, — продолжила она, потягиваясь, как кот после долгого сна. — Юрка заходил пару раз, но всё больше стоял и мямлил что-то про вечную память. Скука смертная. А ты хоть поцеловал нормально, не как на похоро-

ронах.

Лена сидела на гранитном краю, свесив ноги, как школьница на подоконнике в большую перемену, и саркофаг стоимостью в небольшой египетский некрополь мгновенно превратился в лавочку у подъезда.

— Привет, Лен, — сказал он, засунув руки в карманы куртки. — Как дела?

— Как у покойницы. Лежу, никого не трогаю! — она фыркнула. — А у тебя как? Постарел, кстати. Седина пошла.

Внутренний профессионал отметил, что симулякр обладает наблюдательностью, нехарактерной для конструкторов такого типа. Внутренний человек отметил, что про седину можно было и промолчать.

— Время идёт.

— У меня — нет, — она провела ладонью по щеке. — Юрка меня такой запомнил. Вечно восемнадцать, вечно в школьной форме. Могло быть и хуже, мог запомнить в пижаме с зайчиками.

Соннер невольно улыбнулся. Другая бы на её месте как минимум потребовала объяснений, почему она лежит в каменном гробу в подвале, а эта критиковала гардеробный выбор покойника.

— Расскажи про наших мальчиков, — Лена поболтала ногами, и пятки застучали по граниту весёлой дробью, которая в любом другом мавзолее мира считалась бы кошунственным нарушением тишины. — Юрка как?

— Юрка утонул. Полгода назад. У Канарских островов.

— Серьёзно? — Лена склонила голову. — Мужчины — они такие: проще утонуть у Канарских островов, чем позвонить. А Олежка?

— Олег в порядке. Бизнесмен теперь. Компьютеры, софт. Лена посмотрела на него так, словно он только что сообщил, что земля плоская, а дождь идёт снизу вверх.

— Олежка? Бизнесмен? Это тот, который забывал завязывать шнурки и путал Наполеона с Александром Македонским?

— Он самый. Теперь у него костюмы по три тысячи долларов и секретарша, которая завязывает ему галстук. А может, и шнурки.

— Бедная секретарша, — Лена вытерла слёзы. — А помнишь, как он стоял у доски семь минут молча, когда я закинула ногу на ногу? Весь алгебраический потенциал молодого организма ушёл совсем в другое полушарие.

— Помню.

— А как Юрка мел съел на спор? Помнишь? И неделю ходил белый, как привидение, с расстройством пищеварения?

— И это помню.

Лена болтала легко, непринуждённо, и Леонид поймал себя на том, что забывает, где находится. Мёртвая девочка рассказывала живому мужчине школьные анекдоты в подземном мавзолее посреди города, где Лубянка работала секс-шопом, и это каким-то образом было самым нормальным со-

бытием за последние трое суток. За все годы в чужих снах соннер ни разу не получал такого чёткого подтверждения: мёртвые помнят всякую ерунду ровно так же хорошо, как и живые.

Потом разговор затих. Лена смотрела на него внимательно, изучающе.

— Лёнь, — сказала она другим голосом, тише, как говорят вещи, которые уже незачем скрывать, ведь она и так в каменном гробу под Красной площадью. — Из всех троих, и пусть Юрка на меня не обижается, я любила тебя.

Самые важные слова в его жизни ему сказала мёртвая восемнадцатилетняя девочка в школьной форме, сидя на краю гранитного гроба и болтая ногами в чёрных колготках. Если бы Леонид описал эту сцену психотерапевту, тот сам записался бы к своему психотерапевту.

Соннер молчал. Сорокалетний мужик, который за семнадцать лет работы научился отличать правду от проекции и сигнал от шума, стоял столбом, потому что с этим конкретным сигналом его способности не справлялись. Профессионал требовал анализа, человек — повтора. Ни тот ни другой не дождались.

— Но я никогда не показывала, — продолжила Лена, глядя в сторону. — Дура была. Думала, признаюсь — всё развалится. А теперь лежу в гробу и думаю: надо было сказать.

Она смотрела на него с лёгкой насмешкой. Ждала реакции. Но получила напряжённые желваки на скулах и взгляд

в сторону — мужчина, который скорее вынесет допрос третьей степени, чем скажет: «И я тебя».

— Ну и молчун! Всё такой же. Двадцать лет прошло, а прогресса — ноль.

Леонид потёр переносицу. Ответ на «Я тебя любила» вряд ли мог звучать как «Мне нужны банковские реквизиты». Переход от одного к другому требовал эмоционального манёвра, к которому не готовил ни один учебник, и уж точно не Василиса с её универсальным «Дальше — сам».

— Лен, я пришёл не просто так. Мне нужна информация. Банковские реквизиты. Офшорные счета компании.

— А, это, — она кивнула так легко, словно Леонид попросил передать соль за обедом. — Знаю. Всё знаю. Юрка мне рассказывал. Только вот незадача. Просто так не дам.

Леонид напрягся. В его практике условия получения информации бывали разными — от «Принеси мне кофе» до «Убей дракона», и один раз кто-то попросил бутерброд с докторской колбасой. Но что-то в Лениной интонации подсказывало, что сейчас условие будет из совершенно другой категории.

— И что же ты хочешь? — соннер скрестил руки на груди, жест, который появлялся перед любыми переговорами — с директором корпорации или мёртвой школьницей на гранитном гробу.

— Прямо сейчас, — сказала Лена, и улыбка у неё стала другой — не детской, взрослой. — Здесь. Ты займёшься со

мною любовью. В этом саркофаге.

Леонид моргнул. Из всех вариантов, которые он рассматривал за свою карьеру, этот не входил даже в первую сотню. Впрочем, в первую тысячу тоже.

— Это... — начал он.

— Неправильно? — Лена приподняла бровь с таким выражением, словно предложила сходить в кино, а не совершить нечто, для чего в уголовном кодексе даже нет подходящей статьи. — Ну, тогда вали отсюда, а я буду дальше спать. Разбудил принцессу, а трахнуть не хочешь. Также мне прЫнц.

Она демонстративно легла обратно, закрыла глаза и сложила руки на груди в классической позе покойницы. Получилось настолько театрально, что не хватало только свечей и хора плакальщиц.

— Тут жёстко, между прочим, — добавила она, ёрзая плечами по камню. — Мог бы хоть одеяло принести. Или подушку. Или хотя бы газету подстелить.

Профессионал внутри Леонида включился мгновенно. Юркин сон, похабный, торгующийся, весь город снаружи построен на сексе и цинизме, мавзолее не исключение. Василиса когда-то говорила: каждый сон имеет свою валюту, в одних платят страхом, в других — болью, в третьих — и вовсе воспоминаниями. В Юркином сне валютой было желание, и банковские реквизиты стоили одну ночь с Леной в гранитном гробу. Экономика абсурда, доведённая до логического предела. Человек внутри соннера послал профессионала к

чёрту вместе с его анализом, потому что Лена Крутова только что предложила ему то, о чём он мечтал двадцать лет назад, и обстоятельства, при всей их клинической безумности, ничего не значили.

— Хорошо, — сказал Леонид.

Лена открыла один глаз, убедилась, что он не шутит, и подвинулась.

— Вот и умница, — сказала она и похлопала по камню рядом с собой. — Ложись, не стой как истукан. И куртку сними, ледяная.

Соннер стянул куртку, повесил на край саркофага, как вешают пиджак на спинку стула перед деловым обедом, и осторожно улёгся рядом с Леной. Места было в обрез, саркофаг рассчитан был, очевидно, на одного покойника, а не на двух живых идиотов, решивших совместить некрофильский романтизм с офшорным банкингом. Локоть упирался в стенку, колено съезжало, и каждое движение сопровождалось шорохом ткани по граниту, от которого хотелось извиниться перед всеми мавзолеями мира одновременно.

— Тесновато, — констатировал он.

— Зато романтично, — хихикнула Лена. — Могила для двоих. Юрка бы оценил.

Она повернулась к нему, и глаза у неё были уже не школьные, а другие — тёплые, взрослые, с выражением женщины, решившей, что ждать больше незачем.

— Что, Каруселин, — шепнула она, расстёгивая верхние

пуговицы школьного платья медленно, глядя ему в глаза, — не мечтал об этом в одиннадцатом классе?

Мечтал. И в девятом, и в десятом, и в одиннадцатом, и примерно каждый вторник последующих двадцати лет. Если бы все эти мечтания материализовались, очередь из Леонидов выстроилась бы от мавзолея до Ваганьковского кладбища.

— Руки сюда, — командовала она, направляя его ладони к своей талии. — Не бойся, не укушу. Или укушу, но не больно.

Лена потянула платье через голову одним привычным жестом, как снимают то, что уже давно решили снять. Под ним оказалась только она сама — грудь небольшая, с бледно-розовыми сосками, сжавшимися от холода в тугие точки. Профессионал попытался напомнить, что это проекция, не больше, и был послан так далеко, что обратная дорога заняла бы несколько световых лет.

Лена приподнялась, стянула трусики, не торопясь, не отводя взгляда, потом перевернулась и устроилась верхом на Леониде спокойно, как будто гранитный саркофаг был самым естественным местом в мире для того, чем они собирались заняться. Впрочем, после всего, что творилось наверху, мавзолеей был, пожалуй, самым целомудренным местом во всей Юркиной Москве.

Холод гранита обжигал спину, но тепло её тела сверху создавало контраст — как лежать на льду под солнцем. Каж-

дый звук — шорох, дыхание и тихий смех — отражался от стен, и даже шёпот звучал как объявление на вокзале.

— Тише, — прошептала она, прижимаясь губами к его уху. — А то весь мавзолей разбудишь. Хотя кого тут будить? Один Юрка, и тот утонул.

Лена двигалась уверенно, требовательно, и была тёплой, безобразно, немыслимо тёплой в каменном холоде. Леонид, который входил в этот мавзолей за банковскими реквизитами, обнаружил, что в данную минуту реквизиты его интересуют примерно так же, как погода на Марсе.

В момент, когда всё должно было закончиться, Лена запрокинула голову, застонав, и стон этот нёс в себе номера счетов.

— Двадцать... семь... aaax... BankSwiss... — цифры впере-мешку с криками удовольствия, банки и пароли в потоке сознания. — Номер... ох, Лёнька... четыре-семь-девять... счёт основной... дополнительный код...

Информация приходила через оргазм мёртвой девушки в саркофаге посреди пустой Москвы с факом вместо «Рабочего и колхозницы». Цифры, банки и реквизиты — в одном пакете с учащённым дыханием, поцелуями и запахом клубничного шампуня. Юрка и после смерти устроил из всего распродажу.

Это было так по-Юркиному, что Леонид, не отдышавшись, хохотнул, а за ним и Лена тоже. Так они и лежали на холодном граните и смеялись, потому что это был единствен-

ный адекватный ответ на всё происходящее.

Потолок с лепниной и знакомой трещинкой в правом углу материализовался над головой без предупреждения, как фокус уличного мага: раз — и кролик в шляпе, раз — и ты дома. Чистые пруды, сталинский дом, бабушкина квартира. Леонид лежал на спине в собственной постели, весь в поту, простыня под ним была влажной и холодной, как после болезни.

Во рту стоял привкус железа и камня, послевкусие чужого сна, который цеплялся за нёбо и зубы, не желая отпустить. К нему примешивалось что-то ещё, совсем слабо, на границе воображения: клубничный шампунь. Или показалось.

За окном шумела Москва. Машины на Чистопрудном бульваре, чьи-то голоса во дворе и звук трамвая. Звуки живого города, где люди ехали на работу, покупали хлеб и ругались с соседями — обычные дела людей, не лежащих в гранитных саркофагах с мёртвыми одноклассниками.

Леонид рывком сел в постели. Номера счетов, которые Леона простонала ему в момент оргазма, уже начинали расплываться в памяти, как любой сон через пять минут после пробуждения.

Соннер потянулся к тумбочке, схватил блокнот и карандаш, простой графитовый, который не подведёт. Рука дрожала, пальцы не слушались, но он писал, царапая бумагу грифелем. «BankSwiss, 27, основной счёт 479...» Миллиарды долларов, замороженные на офшорных счетах, ключи от кото-

рых умерли вместе с Юркой. Теперь ключи лежали в школьном блокноте на бабушкиной тумбочке, записанные дрожащей рукой после самого невероятного сеанса в истории корпоративного шпионажа.

Закончив, откинулся на подушку. Информация записана, контракт выполнен. Только вот руки всё ещё помнили тепло её кожи, а на губах стоял привкус клубники, которого быть не могло. Но он был.

Леонид стоял под душем, выкрутив кран до упора, и думал о том, что именно полагается чувствовать после секса с девочкой, умершей двадцать лет назад, в каменном гробу, ради банковских реквизитов. Слово «сложные чувства» тут не годилось. «Сложные чувства» были рассчитаны на ситуации попроще — типа позвонить бывшей после третьего бокала вина. Здесь требовался совершенно новый термин, и Леонид подозревал, что его ещё не придумали.

Но тело помнило другое. Её смех, её руки на его груди и момент, когда профессиональная отстранённость сломалась и он забыл, кто он, где и зачем, а помнил только, что ему семнадцать и что от неё пахнет клубникой.

Вода стекала по лицу, смешиваясь с чем-то солёным, что могло быть потом, а могло и не быть.

Кухня встретила привычным уютом. Клеёнка с ромашками на столе, синий кофейник с отбитым носиком и магнитики на холодильнике. Леонид насыпал кофе в щербатую кружку с надписью «Лучший внук», залил кипятком. Раствори-

мый, без соли. С солью варила Василиса в медной джезве: медленно нагревала двадцать минут, потом поднявшаяся пена, щепотка соли — и получалось так, что хотелось жить вечно. У Леонида каждый раз выходила такая дрянь, что хотелось не жить, а извиняться.

На столе рядом лежал блокнот. Школьный, в клетку, с пожелтевшими страницами. На открытой странице — номера счетов на миллиарды долларов, которые мёртвая девушка простонала ему в каменном гробу. Если бы эта сцена попала в учебник по банковской безопасности, параграф назывался бы «Нетрадиционные методы получения финансовой информации» и был бы засекречен навечно.

Соннер сделал глоток кофе. Утренний кофе нормального мужика, не занимающегося любовью с призраками в мавзолеях. По крайней мере, не каждый день. Через час нужно будет позвонить Олегу, передать информацию. Деловой разговор двух школьных друзей о банковских реквизитах, полученных в результате некрофилии в сновидческом пространстве. Обычный понедельник из жизни профессионального соннера.

Кофе остывал в кружке, но Леонид не допивал. Сидел, упираясь локтями в клеёнку с ромашками, и смотрел за окно, где новый день вступал в свои права в Москве, которой не было никакого дела до мужика на этой кухне, пьющего растворимый кофе и пытающегося понять, почему самое живое, что с ним произошло за двадцать лет, случилось в гробу.

Глава 4. Олег

Номер Олега Леонид набрал в половине десятого, когда кофе в чашке с надписью «Лучший внук» остыл окончательно, а цифры в блокноте перестали казаться шифром мертвеца и превратились в результаты обычной работы. Однако на губах ещё держался привкус клубничного шампуня, которого не могло быть, но он был, и Леонид старательно избегал об этом думать.

Гудки — два, три — потом знакомый голос, хрипловатый от утренних сигарет:

— Лёня? Ну как, что-то есть?

— Есть. Встретимся?

— Конечно. «Турандот», час дня, столик на имя Кружицкого. Только не опаздывай, у меня совет директоров в три.

Олег положил трубку так быстро, словно речь шла не о миллиардах, а о встрече одноклассников в выходные. Привычная деловитость — он всегда получал нужное без церемоний. Леонид помнил эту его интонацию с девятого класса — тогда она касалась контрольных по алгебре, теперь — офшорных счетов, а разницы в тоне не было никакой.

Соннер захлопнул блокнот, сунул во внутренний карман куртки и вышел в утреннюю Москву.

Чистопрудный бульвар жил обычной жизнью октябрьского утра. Пенсионеры с авоськами направлялись к магазинам,

молодые матери катили коляски по асфальтовым дорожкам, и где-то в глубине двора дворник сгребал рыжие листья. Воздух пах прелой листвой, первым морозцем и выхлопами — в Москве без них не обходится ни один сезон.

На спуске к «Тургеневской» знакомое давление подземного воздуха обняло плечи, тёплое и тяжёлое, насыщенное запахами тысяч людей, прошедших через эти тоннели. Резина эскалаторных поручней, нагретый металл и тот густой подземный дух, намешанный из пота, тёплого бетона и мелкой пыли.

Поезд пришёл через три минуты. Леонид занял место напротив двери, потому что так удобнее наблюдать за вагоном, не привлекая внимания.

«Сухареvская», «Проспект Мира», «Рижская» — станции сменялись за окном привычной чередой, двери раздвигались, впуская новых пассажиров и выдыхая на платформу старых. Леонид смотрел, не видя. Перед глазами стояли не лица попутчиков, а мраморные стены мавзолея и четыре красные буквы на чёрном камне.

— Следующая станция — «Алексеевская», — объявил женский голос из динамика, и механический тембр до последней интонации совпал с тем, что звучал в затопленном вагоне Юркиного сна.

Леонид напрягся.

Напротив сидела грузная женщина лет сорока пяти, с тремя пакетами из «Перекрёстка» на коленях. Те же пакеты, та

же поза и те же широкие красные руки. Только теперь она хмурилась в телефон, бормоча что-то себе под нос, живая, раздражённая, обыкновенная, ругающаяся с кем-то в мессенджере с выражением лица, которое обычно предшествует удалению контакта.

Рядом подросток в массивных чёрных наушниках — тощий мальчишка, который несколько часов назад паниковал в тоннеле из Юркиного сновидения вместе с остальными. Здесь он жевал жвачку и кивал в такт неслышной музыке. На коленях у него лежал смартфон с игрой — что-то про зомби и автоматы, судя по яркому экрану. Мёртвые пиксели вместо мёртвой воды.

Леонид смотрел на них дольше, чем полагается смотреть на незнакомцев в общественном транспорте. Он искал в их лицах след затопленного вагона — тень за обыденными жёстками, хоть что-нибудь, что доказало бы: они там были.

Женщина продолжала ругаться с кем-то в мессенджере. Подросток лениво стрелял в пикселированных мертвецов. Вагон качался на стыках рельсов с тем же ровным гулом, с каким качался всегда. Ничего не происходило, и это было правильно.

— Следующая станция — «ВДНХ», — раздалось из динамика.

Выходить было рано, но Леонид поднялся и протиснулся к дверям. Нужно было увидеть. Убедиться, что постамент на месте, что октябрьское солнце отражается в нержавеющей

стали легендарной скульптуры, а не среднего пальца покойного друга.

Площадь перед ВДНХ выглядела, как всегда: туристы с фотоаппаратами, торговцы с сувенирами и бабушки с семечками. На постаменте возвышались знакомые фигуры — мужчина и женщина с серпом и молотом, устремлённые в светлое будущее, которое так и не наступило, но хотя бы не показывало неприличные жесты.

Леонид постоял минуту, глядя на скульптуру. Ветер подхватил с аллеи обрывок газеты и забросил на постамент. Клубничный запах на губах Леонид объяснять не собирался.

Соннер развернулся и пошёл обратно к метро. Пора заниматься делами.

«Турандот» встретил тем, чем встречал всегда: позолотой, которая не стесняется быть позолотой, росписью на потолке в три яруса и люстрами размером с малолитражку. Место знало, что оно — декорация, и не притворялось иным с достоинством оперного театра, в котором актёры давно разошлись, а занавес так и не опустили. Официанты двигались неслышно — такой шаг ставят годами. Пахло белыми розами из напольных ваз, свежим кофе и чем-то неуловимым — смесью дорогих пальто и сдержанных амбиций — здесь обсуждали деньги голосами, предназначенными для обсуждения искусства.

Олег уже сидел за столиком у окна, листая что-то в планшете. Сорок лет шли ему так, как идут мужчинам, привык-

шим перестраивать пространство под себя: крупное телосложение подчёркивал костюм, сшитый скорее для авторитета, чем для моды, ранняя седина добавляла солидности, а швейцарские часы на запястье стоили больше, чем большинство людей в этом зале зарабатывали за год, хотя зал был не из дешёвых. Но когда старый друг поднял голову, в глазах мелькнула тень, знакомая Леониду ещё по школьным коридорам, — хотя тогда за ней не стоял их общий утонувший друг.

— Лёня! — Олег встал, протянул руку. Рукопожатие крепкое, сухое, как заключительная речь на совете директоров. — Садись, заказывай. Кофе? Тут отличный эспрессо делают.

— Кофе, — согласился Леонид, устраиваясь напротив.

Официант материализовался у стола, словно ждал этих слов за ближайшей колонной. Олег заказал два эспрессо и круассаны, хотя есть явно не собирался, нервная привычка, оставшаяся с тех времён, когда они втроём сидели в школьной столовой и он всегда брал больше, чем мог осилить. Юрка тогда таскал у него булочки, не спрашивая. Теперь Юрка лежал на Ваганьковском кладбище, а булочки заказывались по инерции, как будто третий стул за столом не был пуст.

— Ну что? — спросил Олег, едва официант отошёл. Пальцы сжали край планшета, быстрые и решительные — даже его неподвижность всегда казалась осознанным выбором. — Получилось войти?

Леонид достал блокнот и раскрыл на нужной странице.

Цифры и названия банков выстраивались ровными строчками, результат ночной работы в мире, где информация стоила одну ночь с мёртвой девочкой в каменном гробу.

— BankSwiss, основной счёт, — начал соннер, читая без выражения, как диктор читает сводку погоды, перечисляя температуру воздуха в городах, до которых никому нет дела. — Номер четыре-семь-девять-один-два-восемь-ноль-три. Дополнительный код доступа — «Лена-десять-А». Резервный счёт в Liechtensteiner Landesbank...

При слове «Лена» Олег поднял глаза. На долю секунды. Потом опустил и продолжил записывать.

Школьный друг писал в маленький блокнот с логотипом компании, мелким протокольным почерком. Не в телефон, бумагу сложнее подслушать. Когда Леонид закончил, Олег поставил точку, закрыл блокнот и несколько секунд смотрел на обложку, не открывая. Там, под картоном, лежали цифры, которые мёртвая девочка простонала в саркофаге посреди порнографической Москвы, но об этом Олегу знать не следовало, и Леонид промолчал.

— С тех пор, как Юрки не стало... — сказал Олег, не поднимая глаз. — А ты за одну ночь...

Фраза повисла, незаконченная. В ней смешались благодарность и зависть, и ещё кое-что, о чём ни один из них не стал бы говорить вслух: тень Юрки Шустровикова, превратившего всю Москву в выставку достижений похабно-го хозяйства, а одно-единственное место — в мавзолей для

школьной любви.

Переводы Олег делал прямо за столом, не торгуясь, не обсуждая сумму. Пальцы летали по экрану телефона, авторизации проходили одна за другой. Через десять минут на счету Леонида появилась сумма с пятью нулями — гонорар за работу, которую невозможно было описать ни в одной налоговой декларации мира.

— Спасибо, Лёнь, — сказал Олег, убирая телефон во внутренний карман. — Ты буквально спас компанию. Полторы тысячи человек не останутся без работы.

— Обычное дело, — ответил Леонид.

— Для тебя — обычное. Для меня — чудо, — Олег допил эспрессо одним глотком и поднялся, застёгивая пиджак — для него расстояние между столом и дверью уже было частью следующего совещания. — Извини, мне действительно нужно бежать. Совет директоров через час, а ещё к юристам заехать.

Уходил он быстрым энергичным шагом, и пространство ресторана перестраивалось вокруг него, как перестраивалось всегда, раздвигая официантов и стулья. Уже в дверях обернулся, махнул рукой и исчез в потоке людей на Проспекте Мира.

За столиком с остывшим кофе и закрытым блокнотом Каруселин остался один. Деньги пришли, информация передана, контракт выполнен. На скатерти остался мокрый кружок от Олеговой чашки.

Только вот под чистотой контракта лежало кое-что, чего в отчёт не впишешь. Голос Лены в саркофаге, когда цифры смешивались со стонами. Запах клубничного шампуня под запахом гранита. И вопрос, на который не существовало ответа: что именно он получил в мавзолее — правду о чувствах мёртвой девочки или проекцию собственных желаний, упакованную в чужой сон?

Разницы между этими вариантами Леонид не знал. Круасан на блюде — Олегов — остывал нетронутым.

Соннер допил кофе, оставил чаевые и вышел на Проспект Мира, где Москва продолжала жить так, словно никаких мавзолеев с чужим именем не существовало.

Редакция The Moscow Post встретила следующий день привычным гулом голосов, стуком клавиатур ноутбуков и запахом кофе из автомата — горького, мутного, того цвета и консистенции, которые больше напоминали промышленный растворитель, чем напиток. Но жидкость была горячей, бесплатной и содержала кофеин, что делало её основой журналистского существования, примерно, как кислород, только хуже на вкус.

Утренняя летучка прошла в обычном режиме: главред зачитал план номера, раздал задания, отчитал кого-то за просроченный материал. Леонид получил своё — интервью с районным чиновником об установке детских площадок. Скудная работа для поддержания легенды, но легенда требовала усилий, как требует усилий любая ложь, которую по-

вторяешь семнадцать лет.

За своим столом в углу отдела, подальше от общего шума, соннер включил компьютер и открыл ленту новостей. Обычный поток: политика, экономика, происшествия, спорт. Между рекламой страхования жизни и заметкой о футбольном матче — короткая строчка, которую он едва не пропустил.

«Известный IT-предприниматель Олег Кружицкий скончался во сне. По предварительным данным, причина смерти — остановка сердца. Покойному было 40 лет».

Леонид прочитал. Потом ещё раз. Потом ещё. Слова не менялись, смысл не исчезал, новость не превращалась в опечатку или розыгрыш. Олег Кружицкий, вчера переводивший миллионы в «Турандоте», махнувший рукой в дверях, крупный и живой, — был мёртв. Умер во сне. Сорок лет, остановка сердца.

Пальцы медленно разжались, отпуская компьютерную мышь. Вокруг продолжалась редакционная жизнь: кто-то смеялся над анекдотом, кто-то спорил с источником по телефону, кто-то печатал статью, от которой зависело спасение мира, если миром считать тираж четверговой полосы. Никто не заметил, что сидящий в углу отдела человек только что остался последним из тройки школьных друзей.

Леонид встал из-за стола осторожно, как встают после контузии, проверяя, держат ли ноги. Дошёл до окна в конце коридора, где было тише. Сел на подоконник, прижался

спиной к стеклу и закрыл глаза.

За стеклом шумела Москва: машины, голоса и стройка на соседнем участке, где рабочие с утра до вечера что-то сверлили и забивали. Стекло было холодным, Леонид чувствовал его лопатками сквозь рубашку.

Голова включилась раньше, чем отпустило горло. Не спрашивая разрешения, не дожидаясь, пока отпустит, начал считать.

«Умер во сне» — для врачей это загадка. Для соннера — исполненный приговор. Кто-то вошёл в сон Олега и убил его там, а сердце не выдержало разрыва между мирами. В медицинской карте это будет называться внезапной сердечной недостаточностью. В реальности — убийство, которое не оставляет улик, потому что орудие убийства существует только в пространстве, куда следователи не заглядывают.

Юрка утонул на Канарских островах полгода назад. Официально — несчастный случай. Тело нашли через двое суток, вскрытие показало попадание воды в лёгкие. Олег умер на следующую ночь после получения банковских кодов. Кодов, которые Леонид достал из сна мёртвого Юрки.

Цепочка выстраивалась безжалостно: двое из трёх школьных друзей мертвы. Юрка — владелец кодов. Олег — совладелец компании. Остался тот, кто помог одному получить наследство другого, и деньги, полученные от Олега, уже лежали на его счету, связывая Леонида с мёртвым заказчиком крепче любого контракта. Кто-то методично убирал всех,

кто прикасался к офшорным счетам, и логика этой чистки была проста и страшна, как расписание поезда, который идёт по ветке и не пропускает ни одной станции.

А то, что анализу не поддавалось, — молчало. Олег был последним живым свидетелем их общей юности, когда они втроём сидели за одной партой и влюблялись в одну девочку. Теперь эти воспоминания не разделял больше никто. Леонид остался один с прошлым, которое больше никому было подтвердить.

Соннер открыл глаза и посмотрел на улицу за окном. Нужно было думать и планировать. Искать того, кто превратил школьную дружбу в перечень жертв. Но сначала — вернуться к столу, допить остывшую бурду из автомата, написать статью про детские площадки. Поддерживать видимость нормальной жизни, пока нормальная жизнь ещё существовала. За спиной продолжался редакционный день, и Леонид вернулся в него, как возвращаются в тёплый дом с холодной улицы, зная, что тепло временное.

Новодевичье кладбище в октябре выглядело как декорация к фильму о правильной смерти: чёрные костюмы на фоне жёлтых листьев, белые цветы на свежей земле и гравийные дорожки, по которым медленно шли люди с торжественными лицами. Всё было на своих местах, как в каталоге ритуальных услуг премиум-класса, где даже горе имеет артикул и цену.

Леонид стоял в четвёртом ряду среди незнакомых лиц.

Глаза работали на автомате — считали выходы, запоминали лица и оценивали угрозы. А перед внутренним взором стоял вчерашний Олег: крепкое, сухое рукопожатие, голос из телефона: «Только не опаздывай».

Партнёры по бизнесу в кашемировых пальто, чиновники с казёнными выражениями соболезнования и несколько журналистов с блокнотами, которые держались чуть в стороне, как держатся люди, пришедшие не горевать, а работать. Леонид их понимал. Он пришёл сюда с той же целью — только его работа была сложнее.

Гроб опустили в землю, и красное дерево с золотой фурнитурой приняло на себя первые комья октябрьской земли. Глухой стук, от которого что-то сжалось внутри, хотя Леонид слышал этот звук не впервые. Последний звук в жизни человека — не музыка и не слова, а удары земли о дерево. Окончательные, как банковский перевод, который нельзя отменить.

Священник говорил о бессмертной душе, о светлой памяти, о том, что смерть — не конец, а переход в другой мир. Стандартный набор утешений, который звучал одинаково на всех похоронах, независимо от того, сколько стоил гроб и сколько «стоил» покойник. Леонид слушал вполуха, продолжая изучать лица.

Её он заметил раньше, чем она заметила его.

Невысокая, тонкая, тёмные волосы убраны в строгий пучок. Чёрное платье без украшений — не дешёвое, но без пре-

тензии на роскошь, из тех, что выбирают женщины с безошибочным вкусом и ограниченным интересом к тому, что о них подумают. Скулы — резкие, острые, подбородок — упрямый, такие не опускаются ни на похоронах, ни на переговорах.

Марина стояла в третьем ряду, сцепив руки перед собой, и смотрела не по сторонам, не на священника, а прямо на гроб. Бледное лицо спокойное, без слёз, без театральной скорби, сосредоточенное, как у хирурга над раскрытой грудной клеткой.

Двадцать лет, не больше. Но каждое движение выдавало не возраст, а привычку к власти. Когда кто-то из мужчин в кашемире наклонялся к ней, она кивала коротко, без улыбки, без ответного внимания. Говорила — слушали. Молчала — не приставали.

Леонид знал о ней по обмолвкам Олега. Тот иногда упоминал «свою Марину» с тем уважением, с которым говорят о хороших инструментах, не подозревая, что инструмент давно научился пользоваться хозяином. Помощница, правая рука и наследница. Разбирается в финансах лучше дипломированных экономистов. Но видел Каруселин её впервые, и то, что он видел, не вписывалось ни в одну из заготовленных категорий.

Поминки проходили в ресторане на Остоженке, где Олег любил проводить деловые обеды. Частный зал, приглушённый свет, официанты, которые появлялись и исчезали бес-

шумно. Люди с тарелками разговаривали тихими голосами — не о покойном, а о контрактах и перераспределении полномочий. Деловая жизнь не останавливается из-за чьей-то смерти, она перестраивается, как ручей обтекает камень, и ручью совершенно безразлично, тот самый камень или другой.

Леонид стоял у окна с бокалом воды и слушал обрывки разговоров. Акции, доли, совет директоров. На могиле Олега ещё не завяли цветы, а его империя уже делилась на части, как пирог на поминках.

— Нам нужно встретиться. Поговорить.

Голос прозвучал почти рядом, и Леонид обернулся. Марина подошла бесшумно, как официанты в этом ресторане. Вблизи она выглядела ещё моложе, чем казалась на кладбище. Но взгляд оставался жёстким, а глаза — взрослыми. Серые, спокойные, они выдавали человека, привыкшего получать своё и не тратить время на объяснения.

— О чём поговорить? — спросил Леонид.

— О том, что вы делали в офисе Олега в три часа ночи за два дня до его смерти. О том, откуда у него взялись коды доступа к счетам, которые он искал полтора года. И о том, почему вас интересуют мёртвые сны.

Каждая фраза ложилась точно, как пуля в мишень. Спина выпрямилась сама — так с ним бывало при встрече с теми, кто знает больше, чем полагается.

— Не здесь, — добавила Марина, скользнув взглядом по

залу. — Завтра, семь вечера, «Кафе Пушкинь» на Тверском бульваре. Столик на имя Лобаревой.

Ответа она не ждала. Развернулась и пошла к выходу, не оглядываясь, — она знала, что предложение отклонено не будет. У двери обернулась. Посмотрела на Леонида — не на человека, а на задачу, которую собиралась решить.

Каруселин остался у окна. Вокруг продолжались поминки: тихие голоса, звон посуды и запах еды, которую почти никто не ел. Олег лежал на Новодевичьем, а созданный им мир продолжал вращаться, только теперь в нём появилась двадцатилетняя ось, вокруг которой всё перестраивалось.

Соннер допил воду, поставил бокал на подоконник и пошёл к выходу. Завтра в семь он будет сидеть в «Кафе Пушкинь» и слушать предложение девочки, которая командует мужчинами вдвое старше себя, не повышая голоса. А потом решит, стоит ли ей объяснять, что в мире, где можно умереть во сне, контроль — понятие такое же относительное, как возраст на её лице.

Глава 5. Двойной ключ

Ресторан «Кафе Пушкинъ» отличался тишиной — не отсутствием звука, а его тщательной расстановкой, словно невидимый дирижёр научил каждое звяканье вилки и каждый шёпот знать своё место. Столики стояли на таком расстоянии друг от друга, что чужие разговоры доходили разве что обрывками, приглушённые толстыми коврами и высокими потолками. Белые скатерти лежали без единой складки, серебро приборов поблёскивало в свете свечей, и дорогой полумрак делал своё дело — в таком освещении все лица выглядят моложе, а все проблемы кажутся решаемыми за достаточную сумму.

Леонид прошёл мимо метрдотеля, который кивнул так, словно ожидал именно его, и направился к угловому столику.

Марина сидела спиной к стене. Удобная позиция — весь зал как на ладони, со спины никто не подойдёт — Леонид сам выбирал такие места. Строгий чёрный жакет поверх белой блузки, тёмные волосы убраны в низкий пучок, никаких украшений, кроме тонких часов на запястье. Деловой образ, хотя Олега похоронили три дня назад, и можно было бы ожидать траура. Перед ней стоял бокал красного вина, к которому она не притронулась.

Двадцатилетняя наследница крупнейшей IT-компании

держала бокал двумя пальцами за ножку и медленно крутила — не нервно, просто привычка занимать руки, пока голова работает. Движения точные, экономные — профессионал в Леониде привычно зафиксировал детали и убрал в сторону. А человек в нём заметил другое — как свет от свечи падал на скулу, рисуя резкую тень, и как двадцать лет на этом лице сочетались с взглядом, выглядящим ровно на сорок.

Соннер сел напротив. Марина не подняла глаз от вина, пока он устраивался в кресле, — выждала ровно столько, чтобы он это заметил.

— Соболезную, — сказал Леонид, расправляя салфетку на коленях. Ткань оказалась тяжёлой, льняной — из тех, что достают через знакомых.

— Спасибо, — Марина подняла взгляд. Серые глаза, спокойные, без следов недавних слёз. Если она и горевала, то где-то в другом месте и в другое время. — Олег много о вас рассказывал.

— Надеюсь, хорошее.

— Разное, — на губах промелькнула лёгкая улыбка, не доходящая до глаз. — Он говорил, что вы соннер.

Леонид замер. Челюсти чуть сжались, бледные внимательные глаза стали острее — реакция на внезапно изменившиеся правила. Официант возник рядом со столиком, но Леонид жестом отправил его прочь, не отрывая взгляда от собеседницы.

— Олег вам рассказал?

— Олег доверял мне абсолютно. Это было взаимно.

Слова прозвучали просто, без нажима, как данность. Но Леонид почувствовал, как внутри поднялась злость — не на неё, на себя. За семнадцать лет работы он научился хранить тайны, как хранят гранаты с выдернутой чекой: крепко, неподвижно, понимая, что расслабленные пальцы означают конец. А тут оказалось, что его главный секрет давно перестал быть секретом, просто никто не счёл нужным предупредить.

Леонид молчал — не потому, что ему было нечего сказать, а потому, что злость нужно было проглотить раньше, чем она выйдет наружу. В ресторане тихо позвякивали приборы и отдалённо журчали чужие голоса, за соседним столиком негромко чокнулись бокалами, свеча вздрогнула от сквозняка.

— Понимаю ваше беспокойство, — продолжила Марина, всё так же ровно. — Но сейчас это не самое главное. Есть проблема серьёзнее.

— Какая?

Марина отпустила бокал, сцепила пальцы на столе. Ухоженные руки без колец — ничего лишнего, ничего случайного.

— Система двойного ключа. Слышали?

— Слышал.

— Тогда объяснять не буду. Олег настоял на ней два года назад, когда суммы на счетах стали серьёзными. Первая

половина была у Юрки, вы её добыли. Вторую знал только Олег, и он передал её мне на случай форс-мажора.

Леонид кивнул. Логично — страховка от внезапной смерти одного из партнёров. В их мире миллиарды не могли зависеть от памяти одного человека.

— И в чём проблема?

— За несколько часов до смерти Олег сменил свою часть ключа. Без объяснений, без предупреждения. Зашёл в банковскую систему в два часа ночи и поменял код. А в шесть утра его нашли мёртвым.

Марина говорила ровно, словно читала сводку, но Леонид заметил, как чуть дрогнули пальцы при слове «мёртвым». Первая трещина в безупречной броне — Леонид привычно убрал это наблюдение подальше, к остальным.

— Деньги заморожены, — продолжала она. — Банк требует полный ключ, а у нас только половина. Юркина.

— Сколько?

— Четыре миллиарда долларов. Плюс ещё полтора в евро. Плюс активы, которые сложно оценить точно.

Цифры прозвучали буднично, как цены в меню, которое лежало перед Леонидом в тяжёлой кожаной обложке. Марина произносила их без трепета, без восхищения — просто числа, с которыми нужно что-то делать.

— И вы хотите, чтобы я вошёл в сон Олега и нашёл новый ключ, — это был не вопрос, констатация.

— Да.

Леонид открыл меню, не читая. Буквы расплывались, потому что голова работала в другом направлении. Олег сменил ключ в ночь смерти. Что-то узнал. Что-то, от чего стало страшно настолько, что понадобилось менять защиту немедленно, ночью, не дожидаясь утра. Человек, чья неподвижность и невозмутимость всегда казалась осознанным выбором, метнулся в два часа ночи к интернет-банкингу, как крыса, которая чует воду в трюме.

— Почему ночью? — спросил он, не поднимая глаз. — Что могло заставить его сделать это в два часа ночи?

— Не знаю. Может быть, вы выясните.

Леонид закрыл меню, посмотрел на Марину прямо. Двадцать лет, а держалась так, словно успела прожить вдвое больше и остальное доживала по инерции. Посадка головы, паузы без лишних слов — он читал это безошибочно: не девочка-любовница, а партнёр. Олег выбирал людей так же надёжно, как вкладывал деньги — дорого и надолго.

Пламя свечи на столе не двигалось — воздух в ресторане был мёртвым, застывшим, густым от чужих духов. Олег сменил ключ в два часа ночи. Не утром, не после звонка юристу, а ночью, дома, один. Боялся. Знал, что времени нет.

— Никакой информации не дам, пока не разберусь, — сказал Леонид. — Иду за правдой, не за деньгами.

— Хорошо.

Это «хорошо» прозвучало без торга, без попыток переубедить — и удивило его больше, чем всё остальное. Боль-

шинство клиентов в такой момент начинали давить, предлагать больше, угрожать или умолять. Марина просто кивнула, как будто ожидала именно этих слов, и Леонид подумал, что если бы Василиса была жива, она бы сейчас варила кофе с солью, смотрела на него своими серо-голубыми глазами и говорила: «Осторожнее, Лёнь. Те, кто не торгуется, обычно уже знают цену».

Пауза затянулась. Где-то в глубине зала тихо звенели приборы, кто-то смеялся приглушённо, официанты скользили между столиками бесшумно, как призраки в дорогих костюмах. Свет свечи дрожал на лице Марины, и Леонид поймал себя на том, что разглядывает её не как соннер, считающий потенциального клиента.

— Почему он решил, что я помогу? — спросил Леонид наконец.

Марина смотрела прямо в глаза — без попыток увильнуть, без игры.

— Олег сказал: если со мной что-то случится, найди Каруселина. Он единственный, кто может помочь.

— Почему он так решил?

— Потому что вы — единственный, кому он доверял больше, чем мне.

Слова ударили коротко — как пощёчина за столом. Леонид сидел и переваривал эту фразу, пытаясь понять, что с ней делать. Олег доверял ему больше, чем двадцатилетней наследнице, с которой прожил несколько лет. Доверял на-

столько, что оставил его имя как последнюю страховку.

Это было одновременно комплиментом и приговором. И отказаться Леонид не мог — даже если очень хотелось.

— Когда? — спросил Леонид тихо.

— Сегодня ночью. Если согласитесь.

Официант снова появился рядом, на этот раз решительно настроенный принять заказ. Леонид махнул рукой — не сейчас. Еда была последним, о чём он мог думать.

— Хорошо, — сказал он. — Но на моих условиях. И если найду что-то не то, сразу выхожу.

Марина кивнула, и серые глаза чуть расширились, а складка между бровей разгладилась — впервые за весь вечер.

Патриаршие встретили Леонида вечерней толчеей — шумной и равнодушной, какой бывает Москва, когда ей нет до тебя никакого дела. А ей никогда нет до тебя никакого дела. Люди шли с работы, и город делал то, что умел лучше всего, — жил вокруг чужого горя, не замечая его.

Красные огни тормозящих машин размазывались по мокрому асфальту. У самого пруда мужик в дорогом пальто выгуливал таксу, и такса тащила его за поводок с таким выражением морды, будто это она оплачивала квартиру в Патриаршем переулке. Леонид обошёл их, свернул на Садовое, направляясь в сторону «Маяковской», — и большой город дышал вокруг в своём вечернем ритме, не засыпая полностью, а только переходя из одного регистра в другой.

Из подземного перехода на «Маяковской» поднималась толпа — одинаковые усталые лица в свете уличных фонарей. Живая Москва. Не та, по которой он шёл в Юркином сне, — пустая, с факом на постаменте и пивным фонтаном на Сухаревской. Здесь никто не превращал город в балаган, здесь город справлялся с этим самостоятельно: из открытой двери кафе на Сретенке пахло жареным луком, и кто-то громко спорил о футболе голосом пророка без паствы.

На Сухаревской Леонид остановился у фонтана — того, где во сне Юрки бронзовые мужики в тройках блевали друг на друга с выражением лиц, как у членов совета директоров. Наяву здесь стояла обычная скульптура, что-то советское, монументальное и давно привычное, мимо которого москвичи проходили, не поворачивая головы. Вода была прозрачной, подсвеченной снизу, и пахло не пивом, а хлоркой из городского водопровода. Юркина версия была честнее.

По Сретенке вниз, к Чистопрудному бульвару, он шёл и думал о том, что за полгода потерял двух друзей детства. Юрка утонул у Канарских островов — тело нашли, опознали, похоронили на Ваганьковском с памятником, который сам Юрка одобрил бы целиком и полностью. Олег умер во сне четыре дня назад, и теперь выяснилось, что за несколько часов до смерти он что-то узнал, — настолько важное или страшное, что полез среди ночи в банковскую систему менять коды доступа к миллиардам.

У ларька на Чистопрудном бульваре Леонид купил кофе в

бумажном стакане — горький, жидкий, с привкусом картона и отчаяния — не чета тому, что Василиса варила в медной джезве с солью, терпеливо помешивая двадцать минут. Ларёчник торговал с такой сонной неохотой, словно кофе здесь был не товаром, а личным одолжением. Леонид расплатился без сдачи — продавец посмотрел на него с благодарностью первооткрывателя, увидевшего сушу после долгого плавания.

Каруселин взял стаканчик и сел на скамейку у пруда, подальше от фонарей. Пруд лежал тёмным зеркалом. Утки спали у берега, поджав лапы, — единственные существа в центре Москвы, которые выглядели так, будто точно знают, зачем живут. Фонари отражались в воде длинными жёлтыми полосами, дрожащими от лёгкой ряби. Где-то за деревьями шумел трафик Садового, но сюда, к воде, звук доходил приглушённо, как музыка из соседней квартиры, когда в доме толстые стены.

Леонид держал стакан двумя руками — старая привычка, оставшаяся с детства, — и смотрел на воду. Два мёртвых друга. Двадцатилетняя наследница их империи с сухими глазами. Миллиарды на замороженных счетах. И кто-то, способный убивать людей в их собственных снах, — а это могли единицы во всём мире.

Схема складывалась простая и страшная. Юрка не просто утонул — его убили. Олег узнал что-то об этом, и его убили тоже. Остался Леонид, последний из школьной тройки, и

теперь этот «кто-то» наверняка знал, что он ходил в Юркин сон за банковскими реквизитами.

Следующий на очереди — он. Тут можно не сомневаться. Можно собрать вещи и исчезнуть. Купить билет на первый поезд куда угодно, залечь на дно на несколько месяцев, пока всё не уляжется. Деньги и документы были, запасные пути отступления — тоже, привычка, которую каждый соннер отращивал, как второй позвончик.

Но тогда он никогда не узнает, кто убил Юрку и Олега. И зачем.

Леонид допил кофе — остывший, он был ещё более отвратительным, чем тёплый. Василиса за такой кофе убила бы его. Смял стакан, бросил в урну. Решение созрело само — где-то между первым и последним глотком.

Не из-за денег. Не из-за Марины, которая смотрела серыми глазами и говорила нужные слова в нужный момент. Из-за того, что осталось от двух друзей, которым он не успел помочь, пока они были живыми.

Дом встретил его знакомым скрипом парадной двери, запахом старого дерева и лестничной клетки, по которой он поднимался двадцать лет. На втором этаже свет горел только в его окне — соседи уже спали или смотрели телевизор в темноте, и синий свет экранов подрагивал на потолках квартир.

Ключ в замке повернулся легко. Его жильё ждало таким же, каким он оставил его утром, — зелёные обои в цветочек,

паркет, который скрипел в определённых местах, и трещина на потолке спальни, знакомая с детства, вечная и неизменная, бабушкина. Эта квартира была единственным местом, которое Леонид мог назвать домом без чувства, что врёт.

Завтра ночью он войдёт в мёртвый сон Олега. Не за ключом — за правдой. И если там ждёт убийца, пусть попробует добавить к коллекции убитых третьего.

Леонид закрыл дверь на все замки и пошёл спать.

Глава 6. Петербург мёртвого друга

Леонид вернулся в свою квартиру. Она приняла его тишиной, старым паркетом и хиреющей геранью на подоконнике, которую он постоянно забывал поливать, но и выбросить или хотя бы выставить цветок в подъезд рука не поднималась. Герань была воспоминанием о бабушке.

На кухне соннер съел салат, купленный в кулинарии, прямо из пластикового контейнера пластиковой вилкой, оставшейся от какой-то заказанной еды, которую он почему-то так и не выбросил. Затем сварил кофе в бабушкиной турке с отбитой эмалью на ручке — единственной посуде в этом доме, в которой можно было приготовить достойный кофе. Пил у окна, глядя во двор. Двор внизу был пустой, только кот сидел под скамейкой и смотрел на что-то невидимое в сумерках, как профессор над сложной диссертацией. Леонид смотрел на кота. Кот не смотрел на Леонида.

В спальне он разделся, лёг на спину, и матрас принял тело, как принимал двадцать лет: с покорной вмятиной под поясницей и знакомым поскрипыванием пружин при каждом вдохе. Потолок белый, с лепниной и трещинкой в правом углу, знакомой, как собственный почерк. За окном прошёл трамвай, дребезжание сначала нарастало, потом прокатилось мимо и растворилось... И стало тише, чем было до него.

Семнадцать лет один и тот же процесс засыпания: закрытые глаза, ровное дыхание и расслабленные руки, и сознание стекает вниз, по капле, пока не остаётся только пульс. Потом приходило натяжение, медленное и тягучее, как будто в груди кто-то тянет тетиву. Василиса называла это «накоплением потенциала», и хотя соннер не понимал физики, зато каждый раз чувствовал одно: секунду невесомости, как будто в лифте, слишком быстро поехавшем вниз.

...Сначала изменился воздух — стал металлическим, с привкусом электричества. Следом пришёл жёлтый тёплый свет и знакомая вибрация — до дрожи в костях.

Леонид открыл глаза в движущемся поезде метро.

Жёлтые лампы заливали вагон мягким ровным светом, пластиковые поручни поблёскивали, пахло нагретым металлом и чужими пальто, и всё это складывалось в единственную, безошибочно узнаваемую картину: подземка, порог, точка, где обычный сон становился Сновидением. У каждого соннера свой порог, кто-то просыпается посреди парка или на размытой просёлочной дороге, кто-то — в комнате детства с запахом маминого супа. Леонид всегда выныривал здесь, среди стука колёс, под покачивание вагона, перед тёмным стеклом, в котором собственное отражение смотрело чуть внимательнее, чем следовало.

Сиденья серо-голубые, мягче и сдержаннее московского яркого синего, приглушённые, как питерское небо в ноябре. Акустика тоже была другая: в столичной подземке звук глу-

хой, давящий, словно многомиллионный город придавли-
ет своды тоннелей собственным весом, а здесь гулко и про-
сторно, словно тоннели прорублены в мягком, податливом
грунте. Питерское метро соннер узнал сразу. Глаза ещё при-
выкали к жёлтому свету, а слух уже всё знал.

Пассажиры сидели неподвижно, человек двадцать, лица
вперёд, глаза открыты и не моргают. Спрайты, пустые обо-
лочка, массовка без воображения, безобидные, безликие и
никому не нужные.

Из динамика раздался механический женский голос:
— Станция «Зенит». Следующая станция — «Беговая».
Осторожно, двери закрываются.

Двери разъехались с тихим шипением, несколько спрай-
тов вышли на платформу — так выходят, когда некуда торо-
питься и нечего терять. Поезд тронулся, за окнами потяну-
лась тоннельная темнота, пока впереди не засветилась новая
платформа.

— Станция «Беговая».

Керамическая плитка под ногами оказалась твёрдой, убе-
дительно настоящей и холодной сквозь подошвы. Воздух пах
металлом, подземной сыростью и чем-то ещё, едва улови-
мым — балтийской влагой, которую приносит с собой город,
стоящий на болоте у моря.

Эскалатор вёл наверх, длинный, питерский, уходящий в
бесконечность. Ступени двигались медленно, поручень чуть
быстрее, древняя техника, не синхронизированная за полве-

ка. Поднимаясь, соннер думал об Олеге. Не о мёртвом, лежащем на Новодевичьем, не о деловом, в дорогом костюме и швейцарских часах, а о школьном мальчишке, краснеющем у доски, списывающем историю, путающем Наполеона с Александром Македонским, влюблённом в Лену так же безнадежно, как все остальные, но молчавшем упорнее всех.

Этот сон не походил на Юркин. Юркина Москва орала непристойными памятниками, пивными фонтанами и мраморными писсуарами вместо вокзалов. Здесь же было тихо, по-настоящему, до звона в ушах — тишина, в которой слышно, как дышит пространство. Олег строил свой сон не как карнавал, а как крепость. Шустровиков прятал дорогое среди хохота и похабщины — шум надёжнее любого сейфа. Олег выбрал тишину, где каждый неверный шаг слышен на километры.

Эскалатор вынес его наверх, и Леонид шагнул в город.

Петербург белых ночей: сиреневый бестеневой сумрак, небо цвета старого серебра, долго пролежавшего в чьих-то хранилищах, и неподвижный, густой, влажный воздух, пропитанный особенным северным светом, не принадлежащим ни дню, ни ночи. Время здесь застыло в зыбкой точке, где солнце не заходит и не всходит, а просто катается по горизонту, как шарик по краю блюдца.

Юркину Москву разгромили, этот город заморозили. Каждое здание стояло на месте, каждый фонарь горел положенным светом, но жизни не было, её просто выключили,

как выключают свет, когда уезжают надолго.

Соннер шёл по Туристской улице от станции к заливу. Новостройки по обеим сторонам нависали угрюмыми коробками, ни одного огня в окнах, ни одного голоса из форточек. Даже граффити на стенах выглядели официально, словно нарисованы по заказу мэрии для создания атмосферы урбанистической жизни. Мокрый асфальт отражал фонари длинными оранжевыми полосами, уходившими до горизонта, а вода собиралась в лужах безупречной формы, как будто даже лужи здесь делали по техническому заданию.

С каждым кварталом нарастал запах моря: сырость, холод и тяжёлый балтийский дух, дыхание воды, слишком долго лежащей между камней, не успевающей прогреться. Справа, между корпусами, стали проблёскивать полосы залива — неподвижная, непроницаемая гладь, поглощавшая свет и не отдававшая обратно.

Леонид остановился у просвета между домами и думал про Юрку, про официальную версию его гибели: несчастный случай, купался, течение унесло. И про то, что Шустровиков плавал, как дельфин, с детства и ни разу не тонул даже в сильном похмелье. Олегов сон был пропитан водой — не морской, не невской, другой. Здесь можно было утонуть, не замочив ног.

Он двинулся дальше, потому что мёртвых друзей не вернёшь размышлениями о том, как они умирали, а живых можно потерять, если слишком долго думать о мёртвых.

Ветер с залива бил в лицо, тяжёлый, влажный, не бриз из рекламы курортов, а что-то древнее и безжалостное, точно так же дувшее здесь и три века назад, когда Пётр решил построить город на болоте назло географии и здравому смыслу.

Далеко, за неподвижной водой, на горизонте лежал классический Петербург: шпили, купола и колонны. Но мосты были разведены. Леонид понял не сразу, сначала просто почувствовал, что горизонт неправильный, потом разглядел тёмные углы, торчащие в сиреневое небо. Проход к центру отрезан, сон защищался, не пускал чужих.

Соннер стоял на берегу и понимал: Олег не просто умер во сне. Скорее всего, его убили здесь, а теперь подсознание охраняет то, что он прятал при жизни.

Там, где в реальности поднималась стеклянная игла Лахта-центра, стояла сталинская высотка. Камень поглощал свет белых ночей, не отражая, гранит или базальт, синий до черноты, плотный и тяжёлый, с колоннами толщиной в автобус и карнизами, украшенными барельефами: рабочие и солдаты, серпы, молоты, пятиконечные звёзды. Серьёзная, убеждённая попытка построить вечность из камня — какая уж тут ирония. Шпиль терялся в сиреновом небе, висевшем слишком близко над зданием, как крышка на кастрюле.

Прожив двадцать лет в сталинском доме, соннер знал этот стиль. Но на Чистых прудах был домашний «сталинский ампир», согретый десятилетиями кухонных разговоров за чаем. Здесь всё было иное — холодное, государственное. Челю-

век, думавший квартальными отчётами и разговаривавший слайдами, внутри посмертного сна построил крепость прошлого века, башню со стенами толщиной в метр.

Леонид толкнул массивную дверь — металл, обитый кожей, с заклёпками размером с кулак. Поддалась она медленно. За ней пахло камнем и временем.

Внутри высоты царили мрамор, бронза и тишина того сорта, какая в живом мире встречается только в мавзолеях и в налоговых инспекциях в обеденный перерыв. Леонид до этого вечера думал, что знает всё о советской имперской архитектуре, но оказалось, что знал он только домашнюю разновидность. Эта была парадной. Эта хотела, чтобы входящий чувствовал себя ничтожеством, и справлялась с задачей блестяще.

Коридоры с потолками в три человеческих роста, серый мрамор на полу, тёмно-красный камень с золотистыми прожилками на стенах, фриз с барельефами под потолком: серпы, молоты, снопы пшеницы, шестерёнки — полный иконостас эпохи, почти справившейся с задачей вечности. Олег, обставлявший офис в стиле «скандинавский минимализм, бюджет неограничен», в посмертном подсознании оказался убеждённым сторонником сталинского монументального барокко. Профессионал в Леониде не удивился. Подсознание шведский дизайн не читает.

Лифты за решётчатыми дверями, стрелки застыли на разных этажах, как часы в доме покойника. Соннер нажал кноп-

ку. Тишина. Нажал ещё раз, на случай если механизм «задумался о смысле существования». Электричество работало, но кабины приняли коллегиальное решение уйти на пенсию и стояли на своём твёрже, чем сам Олег на любых переговорах при жизни.

Оставалась лестница. Широкие каменные ступени были спроектированы для наркома в шинели и начищенных сапогах, а не для сорокалетнего журналиста в кроссовках, пришедшего ковыряться в мозгах мёртвого одноклассника за деньги. Каждый шаг отдавался эхом среди мраморных стен, усиливался и возвращался обратно, и ко второму этажу у Леонида сложилось стойкое ощущение, что здание комментирует его визит, и комментарии далеки от комплиментарных.

На втором этаже за первой попавшейся дверью обнаружилась переговорная: стол, стулья и доска. На доске мелом были написаны расплывавшиеся формулы, и Леонид понял, что стоило сосредоточиться. Внутренний профессионал отметил: стандартная детализация, подсознание уверено, что формулы должны быть, но понятия не имеет какие. Внутренний человек добавил: в точности, как Олег у доски при жизни, только Олег ещё и потел.

Дальше шли кабинеты, архивы, ещё переговорные, всё чистое, готовое к работе и никем не тронутое, как абонемент в спортзал, купленный первого января. На верхних этажах располагались квартиры: комнаты с застеленными кроватя-

ми, шкафы с одеждой — костюмы и рубашки, всё серое, всё одинаковое, как будто корпоративный дресс-код пережил основателя и распространился на загробную вечность. Ни одной фотографии, ни одного магнитика из Кемера на холодильнике. Жильё для людей без прошлого и, по всей видимости, без малейшего чувства юмора.

Корпорация мечты, буквально мечты, — функциональная, эффективная и мёртвая, как презентация на двести слайдов, которую докладчик читает вслух. Работать можно, спать можно, жить нельзя, потому что жизнь начинается с немытой чашки в раковине, а здесь раковины сияли так, будто их отмыли от самой идеи грязной посуды.

На седьмом этаже Леонид нашёл служебную дверь. Металлическая, серая, из тех, за какими обычно обнаруживается щитовая, ведро со шваброй и лёгкое разочарование в человечестве. За этой находилась весна.

Соннер толкнул створку и шагнул в май.

Яблони цвели белыми и розовыми облаками, воздух пах мёдом и свежей землёй. Солнце стояло послеполуденное, майское, под тем углом, при котором хочется бросить всё, лечь на траву и смириться с тем, что ничего важнее этого конкретного солнечного дня в жизни нет и не будет. Май в средней полосе России, который все помнят с детства, каждый год ждут и каждый год не верят, что он наступит, а когда всё же наступает, упиваются солнцем, яркостью одуванчиков и запахом сирени.

Двор большой, квадратный, трава ровная, яблони рядами, и в углу — клумба с тюльпанами, которая цвела нарочито аккуратно, будто тюльпаны получили служебную записку и выполняли, не обсуждая.

А посреди всего этого тепла и света стояла школа.

Кирпичное здание в три этажа, красный кирпич, побеленные бордюры, крыльцо о трёх ступенях и дверь с облупившейся синей краской. Леонид узнал её мгновенно, не похожую, а именно эту, вплоть до трещины под окном второго этажа, появившейся в девяносто седьмом и не заделанной ни при них, ни при тех, кто был после, потому что трещины в российских школах переживают директоров, учеников, реформы образования и самих хозяев сна.

Школа на Проспекте Мира. Парты на двоих, контрольные, списываемые по кругу, сигареты в туалете на третьем этаже и одна любовь на троих, причём девочка об этой любви знала, все трое знали, и семь лет все четверо делали вид, что ничего не происходит. Лучшие годы, не потому что учили полезно (дискриминанты и многочленыгодились так же, как умение определять род немецких существительных), а потому что именно здесь они освоили курс из четырёх главных дисциплин: дружить, врать, мечтать и разочаровываться.

Семь этажей мрамора и безличных переговорных, а внутри — школьный двор с яблонями. Человек, думавший отчётами и разговаривавший слайдами, после смерти обнаружил единственный слайд, понятный без перевода: дверь с облуп-

пившейся краской, за которой прошло детство и юность.

Соннер поднялся на крыльцо, потянул, и дверь выдала скрип, которым скрипела каждое утро семь лет и который пережил капитальный ремонт, смерть хозяина сна и его одноклассников и, вероятно, переживёт тепловую смерть вселенной, потому что в российских школах скрипят не петли, а сама концепция народного просвещения.

Запах мела, хлорки и линолеума ударил в лицо, как пощёчина памяти. Безошибочный, неподдельный аромат: карбонат кальция, пыль, казённое моющее средство, которым техничка Зинаида Петровна драила полы с яростью, объяснимой только личной обидой на грязь как явление. В этих коридорах детский пот, страх перед контрольной, восторг последнего звонка — всё смешалось в единый букет, который промышленность, к счастью, так и не научилась разливать по флаконам, потому что если бы «Eau de Школа №47» появился на полках, одна половина страны рыдала бы в парфюмерных отделах, а вторая скупала бы эти флаконы.

Из глубины коридора донёсся звонок, тонкий, электрический, делящий детство на две половины: можно бежать в буфет за пирожком с повидлом и нельзя. Леонид не помнил ни одной формулы, но частоту этого звонка узнал бы даже будучи в коме.

Коридор начал подбрасывать картинки, не галлюцинации, а воспоминания, вшитые в ткань сна точнее любого нейрохирурга и деликатнее бульдозера. Олег у доски: мнётся, крас-

неет, мел крошится в потных пальцах, а Марь Ивановна ждёт формулу площади треугольника — их математичка, давно смирившаяся с несправедливостью вселенной, но продолжающая выходить на работу из принципа. Юрка на задней парте: списывает нагло, решает задачу раньше учительницы, потому что для Шустровикова списывание было не нарушением правил, а высшей формой их соблюдения, доведённой до степени искусства. Лена в первом ряду: грызёт синюю ручку, тёмные волосы падают на лицо, не поднимает глаз, когда Леонид входит в класс после болезни, и вот это «не поднимает» запомнилось отчётливее, чем таблица Менделеева, теорема Пифагора и дата Куликовской битвы вместе взятые.

Коридор тянулся дольше, чем имел архитектурное право: важные места растягиваются, пространство подчиняется не геометрии, а тому, от чего сжимается горло, и любой архитектор, сунувшийся сюда с рулеткой, уволился бы к обеду, запил к вечеру и сменил профессию к утру.

В конце коридора дверь с табличкой «Директор», из тех, за которыми в детстве ждали нагоняй, а во взрослой жизни, если повезёт, больше не оказывались. Леониду не повезло.

За дверью было присутствие. Живое, думающее и чем-то основательно занятое. Соннер положил ладонь на холодную ручку, сжал крепче, чем требовалось, и толкнул.

Директорский кабинет: высокие окна, книжные шкафы и портреты важных людей, не рассмотренных вблизи ни одним человеком, включая директора, за сорок лет. Массив-

ный стол с зелёным сукном, из тех, за которыми подписывают серьёзные бумаги, принимают судьбоносные решения и, как выяснилось, занимаются сексом.

За столом находился Олег, а на нём, поверх зелёного сукна, верхом сидела Лена.

Внутренний профессионал попытался запустить стандартную процедуру: идентификация симулякров, оценка автономности. Внутренний человек послал профессионала в то анатомическое путешествие, в которое Юрка отправил всю Москву, и замер в дверном проёме. Такое лицо он в последний раз носил в шестнадцать, случайно зайдя в женскую раздевалку.

Олег в белой рубашке, расстёгнутой на несколько пуговиц, галстук на полу, в позе, именуемой в деловом мире «пятница после шести». Лена двигалась медленно, ритмично и стонала по-домашнему, как стонут, когда хорошо и стесняться некого, потому что единственный потенциальный свидетель — портрет знаменитого педагога — благоразумно смотрел в другую сторону.

Другая Лена. Не хрупкая девочка из Юркиного саркофага, а взрослая женщина лет двадцати пяти, с волосами, собранными в хвост, и помадой на губах. Одета в «компромисс между памятью и желанием»: белая блузка, расстёгнутая до состояния «намерение понятно», и коричневая шерстяная юбка из девяностых, укороченная гораздо выше колен, как носила настоящая Лена, когда бывала уверена, что учителя

не видят. Учителя видели. Чулки заканчивались там, где начиналась юбка. Каблуки были явно не ученическими.

Повернула голову через плечо, не прекращая движения, увидела Леонида и хихикнула, звонко, по-девчоночьи.

— Ой, Лёнька! — как будто её застали не на директорском столе в однозначной позе, а за поеданием пирожков на большой перемене. — Ты, как всегда, не вовремя.

Соскочила одним лёгким движением, одёрнула юбку, поправила блузку, быстро и ловко, как делают женщины, которых прерывали достаточно часто, чтобы довести «сборку» до автоматизма. Чмокнула Олега в щёку, по-дружески, как целуют коллегу после совещания, на котором утвердили бюджет.

— Потом продолжим, хорошо? А то Каруселин будет стоять и пялиться, как в партере.

Олег кивнул, как кивают, когда перерыв на близость заложен в предварительный договор между пунктом третьим и пунктом пятым. Поправил рубашку, застегнул пуговицы — так же привычно переключался между бюджетами при жизни.

Лена прошла мимо Леонида, каблуки стучали уверенно — она знала себе цену и распродажу не планировала. Остановилась, встала на цыпочки, поцеловала в щёку, губы тёплые, с привкусом помады, и соннер на секунду вспомнил клубничный шампунь, но нет — другая Лена, другой запах, другие правила.

— Не расстраивайся, что опоздал. В следующий раз приходи пораньше. Или хотя бы стучись. А то, может, и втроём займёмся, — хихикнула и, отстранившись, убежала. Именно убежала, а не ушла с достоинством — чуть ли не вприпрыжку побежав по коридору, как девчонка, сделавшая что-то восхитительно непристойное. Стук каблуков растворился в гулкости, и в кабинете остались двое, а между ними на зелёном сукне медленно остывало нечто, не имеющее общепринятого названия, потому что «секс мертвеца с проекцией одноклассницы в кабинете директора внутри сталинской высотки посреди мёртвого Петербурга» в словарь пока не внесли.

За семнадцать лет Леонид повидал в чужих снах такое, от чего нормальный человек записался бы к психиатру и больше не закрывал бы глаза. Но обнаружить мёртвого друга за половым актом с общей возлюбленной, простонавшей четыре дня назад банковские реквизиты в саркофаге, а теперь сидевшей на другом мертвеце в другой юбке, — такого в его практике ещё не случалось. Новый опыт. Бесценный. К сожалению, буквально.

— Садись, Лёнь, — сказал Олег тоном директора, принимающего родителя двоечника. — Как жизнь?

Голос прежний, чуть хриплый, задумчивый, и ни тени смущения, словно пять минут назад не произошло ничего, не входящего в дипломатический протокол.

— Нормально, — ответил Леонид, и подумал, что произ-

носит этот ответ двести раз в неделю и каждый раз не имеет в виду абсолютно ничего. — А у тебя?

— Замечательно, — усмешка, и в ней что-то грустное, как солнце в ноябре. — Вечное лето, яблони, Лена приходит в гости. Рай для айтишника средних лет. Единственная незадача: всё это происходит в голове мертвеца, а мертвецы, сам знаешь, народ ненадёжный.

— Думаешь, твоя Лена неправильная?

— Думаю, она — это я сам. Воспоминания, фантазии и сожаления в красивой упаковке, — Олег откинулся в кресле. Терять ему было нечего, и спина об этом знала. — Но упаковка хорошая. Не жалуюсь.

Леонид сидел напротив друга, умершего четыре дня назад и философствующего о природе посмертной любви, предвзвременно занявшись любовью с проекцией одноклассницы на столе с зелёным сукном. Нормальный вторник в жизни профессионального соннера. Впрочем, понедельник был не лучше.

— А Юркина была другая, — продолжил Олег, не спрашивая. — В саркофаге, в форме, тихая.

— Откуда знаешь?

— Мёртвые сны иногда пересекаются. Видел этот порнографический балаган с мавзолеем, — он покачал головой с выражением старшего брата, обнаружившего у младшего коллекцию порножурналов под матрасом. — Юрка и при жизни не умел обращаться с ценным. Хранил любовь в

саркофаге, окружённом пивными фонтанами и мраморными писсуарами. Удивительно, что она не сбежала.

— Любил.

— Мы все любили, просто каждый запомнил её по-своему, — Олег подошёл к окну, заложив руки за спину. — Юрка запомнил принцессу, которую нужно спасти. Я запомнил женщину, с которой интересно. А ты?

Леонид промолчал. Лена, которую он носил в памяти двадцать лет и никому не показывал, как карманные часы деда, не потому что дорогие, а потому что ничьи больше. Девочка, которая смеялась на переменах, грызла ручки на контрольных и умерла, не узнав, что трое мальчишек любили её одновременно... Их отчаянности хватило бы на небольшую войну, но ни один не набрался смелости признаться.

— Вот именно, — Олег повернулся от окна. — Ты вообще не запомнил. Боишься испортить настоящую девочку собственными фантазиями. И, наверное, правильно делаешь.

Глава 7. Мертвый друг

Леонид сидел и смотрел на недавно умершего друга, который философствовал о любви в кабинете директора школы, спрятанной внутри каменной крепости посреди мёртвого Петербурга. Олег был прав: Леонид действительно боялся портить образ Лены собственными фантазиями. Боялся, что его версия окажется хуже реальности или, наоборот, лучше, и тогда придётся жить с пониманием, что он любил не человека, а выдумку.

— Знаешь что, Лёнь, — Олег вернулся к столу, но не сел, а остался стоять, облокотившись о край, как стоял когда-то у школьной доски, когда знал ответ и хотел, чтобы все это видели. — Я знал, что ты придёшь. Не надеялся — знал. Позвонить из гроба не получилось бы, но оставить записку в правильном сне я мог.

Леонид приподнял бровь. В практике соннера случались вещи, от которых у здравого смысла вывихивалась челюсть, но чтобы покойник заранее планировал встречу с живым другом в собственном подсознании — это было ново даже для соннера, зарабатывавшего на жизнь разговорами с мертвецами.

— Ты подстроил собственную посмертную встречу?

— А что мне оставалось? — В уголке рта Олега дрогнула усмешка, знакомая ещё по школьным временам, когда он

придумывал очередной план списывания контрольной и заранее ликовал. — Марина — хорошая девочка, но в некоторых вещах не разбирается. А тебе я мог рассказать всё.

Олег выдвинул ящик директорского стола, достал пачку сигарет — не современных, а тех, из девяностых — «Мальборо» в мягкой обёртке, помятой и потёртой так, будто её полгода таскали в заднем кармане школьных брюк. Постучал сигаретой о зелёное сукно, прикурил от зажигалки, материализовавшейся в пальцах из ниоткуда, и затянулся глубоко, до самых лёгких — торопиться ему уже решительно некуда.

— В школе нельзя курить, — сказал Леонид машинально, и сам удивился тому, как быстро сорокалетний соннер превратился в десятиклассника, попавшегося завучу.

— Мне теперь можно, — ответил Олег просто. — Рак лёгких уже не грозит.

Дым потянулся к потолку тонкими прозрачными спиралями, и в нём стоял запах, который невозможно было подделать: дешёвый табак, хлорка из школьного туалета и что-то сладковатое от жвачки, которой они маскировали следы преступления, пока Лена стояла на стрёме у двери. Олег курил, как курил тогда, в юности, — затяжки короткие, нервные, не для удовольствия, а чтобы соответствовать. Ни прошедшие двадцать пять лет, ни смерть ничего не изменили в этих коротких нервных затяжках.

— Последние месяцы я плохо спал, — продолжил друг, глядя на дым, как будто там, в серых завитках, ещё мож-

но было что-то прочитать. — Не бессонница, хуже. Засыпал нормально, а просыпался выжатым, словно всю ночь таскал мешки. Привычные сны сделались чужими, как будто кто-то сдвинул мебель в квартире на несколько сантиметров: всё на месте, но что-то не так. Начались провалы в памяти — мелкие, дурацкие. Утром не мог вспомнить, что снилось, а я всегда помнил сны, с детства. Врач сказал: переутомление, витамины, меньше экранов. Я пил витамины. Не помогало.

Олег помолчал, повертел сигарету в пальцах.

— Тогда я понял: кто-то лезет мне в голову.

Леонид слушал, и холод полз вдоль позвоночника — медленно, позвонок за позвонком, сверху вниз. Влезть в чужой сон без спроса — всё равно что взломать замок, только ломают не дверь, а голову. Бессонница на месяцы — это если повезёт. Если нет — рассудок скручивает так, что разогнуть нечем.

— Суммы на наших счетах, — Олег стряхнул пепел в керамическую пепельницу, возникшую на краю стола так же ниоткуда, как и зажигалка, — это годовой бюджет небольшой европейской страны. За такие деньги убивают без колебаний и без сожалений. А когда узнают, что один из владельцев знал про соннеров и нанял одного, убивают сразу. Я для них не просто партнёр Юрки. Я свидетель.

— Ты в ту ночь поменял коды, — сказал Леонид.

— В ту же ночь, — поправил Олег, и голос стал тише, будто школьные стены всё ещё могли подслушивать. — Не

накануне, не за неделю. Встал в два часа, пока Марина спала, сел за ноутбук и сменил свою половину кодов. Потом закрыл крышку и лёг обратно. Не знаю, что меня подняло, не объясню. Словно какая-то нитка дёрнулась сама — от затылка к животу.

Сигарета догорела до фильтра. Олег затушил её точным движением — тем же, каким когда-то гасил окурки о подоконник в школьном туалете, быстро и без следов, пока не засёк трудовик. Пальцы не дрожали, голос оставался ровным, деловым, будто речь шла об очередном раунде инвестиций. Олег расправил сгиб на пачке «Мальборо» и убрал её обратно в ящик.

— Расскажи, как это было, — попросил Леонид тихо.

Олег посмотрел в окно, туда, где яблони стояли в вечном цвету посреди двора, где никогда не кончалась весна их юности. Лицо его стало мягче — не грустнее, а именно мягче, как бывает, когда хорошее воспоминание встаёт перед страшным рассказом.

— Я гулял с Леной по берегу залива, — начал он медленно. — Как всегда, во сне. Говорили о чём-то неважном, о погоде, о работе. Обычная прогулка двоих, давно научившихся молчать рядом. И тут вода начала меняться.

Олег замолчал, снова достал пачку, извлёк вторую сигарету, но прикуривать не стал, просто вертел в пальцах, как чётки.

— Сначала появилась рябь, — он говорил, подбирая каж-

дое слово так, как подбирают камни для переправы. — Не от ветра, от чего-то под водой. Потом залив стал светлеть, будто кто-то включил прожектор на дне. А потом из воды вышла фигура. Стеклянная, прозрачная, без лица. И на поверхности этого стекла — моё отражение. Точное, как в зеркале. Оно шло по воде, и с каждым шагом становилось плотнее.

Кожа на затылке Каруселина стянулась — как перед грозой. Он знал это существо по описаниям. Знал, на что оно способно. Но одно дело — читать досье, и совсем другое — слышать рассказ человека, которого оно убило.

— Лена сразу поняла, — продолжал Олег. — Она всегда была умной. Схватила за руку, потащила к выходу из парка. Но поздно, эта штука двигалась быстрее, чем мы могли бежать. И когда она дотронулась до меня...

Олег прикурил наконец вторую сигарету, затянулся, выдохнул дым длинной струёй к потолку, где меловая пыль висела в солнечном луче как крошечные планеты, которые никто не ещё открыл.

— Представь, что тебя ударили током, только не в теле, а в душе. Разряд прошёл через воспоминания и страхи, через всё, что делает тебя тобой. А потом — пустота. Проснулся я уже здесь, в школе. А тело осталось лежать в постели с остановившимся сердцем.

— Марина нашла тебя утром?

— Через десять минут, — Олег усмехнулся, и в этой усмешке не было ничего весёлого, только сухое признание

абсурда. — Она всегда плохо спала, часто проверяла, как я дышу. Женская паранойя. В ту ночь паранойя подвела. Врачи написали: сердечный приступ, стресс, переутомление. Молодой программист, много работал, мало спал, плохо ел. Статистика.

Леонид слушал и думал о том, что убийца, способный остановить сердце спящего, мог точно так же остановить и его собственное, пока он сидит здесь, на школьном стуле, и вдыхает чужой табачный дым в кабинете мёртвого директора мёртвой школы. Если этого до сих пор не произошло, значит, соннер нужен кому-то живым. Вопрос только: кому и как долго.

— Ладно, — Олег щелчком отправил окурок в пепельницу, попал в центр, не глядя. Рука помнила расстояние до школьной урны тремя этажами ниже. — Хватит грустных историй. Перейдём к делу.

Он полез во внутренний карман пиджака, в котором ходил на работу последние два года своей жизни, и достал сложенный листок бумаги. Обычный тетрадный лист в клетку, сложенный вчетверо, с чуть потрёпанными краями — из тех, какие вырывали с середины школьной тетради на переменах, чтобы написать записку или шпаргалку.

Друг развернул бумажку, исписанную мелким плотным почерком, и положил на зелёное сукно директорского стола: — Помнишь? Так я писал контрольные по математике. Леонид помнил. Олег всегда писал мелко, почти микро-

скопически, словно сэкономил чернила на всю оставшуюся жизнь. Учителя ругались, требовали писать крупнее, но рука выводила эти аккуратные, плотные строчки, будто сама знала свой масштаб и не собиралась его менять ни для кого.

— Лучше не вслух, — пояснил Олег. — Слова подслушают. Бумагу труднее.

Леонид наклонился над листком. Цифры, буквы и символы — новая половина ключа к банковским счетам — именно та, что Олег сменил в ночь своей смерти. Миллиарды долларов, записанные школьными чернилами на листке из тетради в клетку. Леонид перечитал первую строчку, и губы дёрнулись — не то в усмешку, не то в гримасу.

— Марине можно доверять, — сказал Олег тихо, но каждое слово легло на место, как кирпич в кладку. — Без колебаний. Она не актриса, не аферистка, не подставная. Просто девочка, которая любила меня и теперь пытается понять, за что меня убили.

Друг смотрел на соннера с тем внимательным, изучающим прищуром, который Леонид помнил ещё со школы, — когда Олег хотел убедиться, что товарищ правильно понял условие задачи, прежде чем двигаться дальше.

— Бери, — сказал он наконец.

Леонид протянул руку и взял листок. Бумага оказалась тёплой, чуть влажной, настоящей, плотной и весомой — так, как не бывает во сне. Пальцы сомкнулись вокруг неё так, что побелели суставы.

Оба знали, что происходит, хотя ни один не произнёс этого вслух.

Леонид был единственным человеком на земле, способным вынести предмет из сна в физическую реальность. Василиса умерла семнадцать лет назад, унеся эту тайну с собой, — так он думал, так привык думать и за семнадцать лет ни разу не усомнился. Сейчас соннер стоял в кабинете директора мёртвой школы, сжимал в кулаке листок с кодами от состояния, сравнимого с бюджетом небольшого государства, и понимал: через несколько минут этот листок окажется у него на тумбочке, в бабушкиной квартире на Чистых прудах, в мире, где мёртвые друзья не курят сигареты и не дают советов, а банковские коды обналичивают люди, за которыми стоят другие люди, а за теми стоит кто-то, кого лучше не знать по имени.

— Спасибо, — сказал Леонид просто.

— Не за что, — ответил Олег. — Мы же друзья.

Два слова, от которых в горле встал ком размером с школьный мел. «Мы же друзья» — сказано в настоящем времени, как будто смерть была мелким недоразумением, не стоящим отдельного упоминания.

Зеркало над раковиной в углу кабинета пошло рябью. Не треснуло, не разбилось — поверхность стала жидкой, зарябила, пошла кругами, как стоячая вода от камня. Круги расходились от центра к краям, и отражения обоих размывались волнами, лица превращались в пятна света и тени.

Олег повернул голову к зеркалу и оттолкнулся от стола, у которого стоял, — одним коротким движением, без слов. Леонид прочёл всё по лицу друга: спокойствие схлынуло, скулы отвердели, и в глазах осталась только собранность, жёсткая, мгновенная. Олег уже встречал свою смерть и теперь узнавал её при втором визите.

— Быстро нашли, — проговорил Олег тихо, отступая к окну, за которым яблони всё ещё цвели, не зная, что им осталось недолго. — Думал, у нас больше времени.

Из зеркала потекло. Не вышло, не выступило — именно потекло, как густая прозрачная жидкость, нашедшая трещину в раме. Сначала по стене сползла рука без кожи и без цвета, потом плечо, потом голова — гладкая стеклянная поверхность без единой черты, в которой отражались кабинет, яблони за окном и лицо Леонида, глядящее на самого себя с чужого тела. Зеркальный соннер. Тварь, убившая Олега. Вот, значит, как она выглядит, когда приходит за тобой.

Школа начала умирать. Стены не обвалились, а разошлись по швам, тихо, с лёгким хрустом. Штукатурка осыпалась хлопьями, обнажая кирпичную кладку, и кладка тоже крошилась, запах мела сменялся запахом растрескавшегося бетона — будто здание, построенное из памяти, вспоминало, что память конечна. Пол треснул длинными тёмными разломами, линолеум вздулся пузырями, из которых сочилась чёрная маслянистая жидкость, пахнувшая машинным маслом и чем-то горелым, как пахнет проводка за секунду до

того, как в доме гаснет свет.

— Олег! — крикнул Леонид.

Мёртвый друг растворялся. Не уходил, не прощался — таял в воздухе, как тает дым от последней затяжки. Сначала исчезли ноги, потом торс, потом лицо, и последними остались глаза. В них стояло одновременно «прости» и «беги», но произнести ни то, ни другое он уже не мог.

Стеклянная фигура полностью выбралась из зеркала и встала посреди кабинета — высокая, человекоподобная, без единой детали, которая делает человека человеком. На прозрачной поверхности отражалось всё разом: рушащиеся стены, падающий потолок и лицо Леонида, искажённое тем, что листок в кулаке — бумажный, тёплый и школьный — единственное, что стоит между ним и смертью, которая носит его собственное лицо.

Леонид схватил первое, что попало под руку, — ученический стул, деревянный, с железными ножками — из тех, на которых они сидели четверть века назад, — и швырнул в фигуру. Стул вошёл в прозрачное тело, прошёл насквозь и вышел с другой стороны тоже уже прозрачным, невесомым, как будто сон пережевал его и выплюнул. Ударился о стену и рассыпался хрустальной крошкой, зазвеневшей по кафельному полу.

Порыв ветра ударил в спину, ураганный, взявшийся из ниоткуда, пахнувший морской солью и распадом. Окна кабинета разлетелись одновременно, стёкла превратились в блестя-

щую пыль, которая кружилась в воздухе и резала кожу лица мелкими порезами, будто у ветра выросли зубы, и он злобно кусал Леонида. Через пустые проёмы врывается сиреневый свет петербургской белой ночи, но он больше не был мягким, он стал резким, болезненным, бьющим в глаза без пощады.

Фигура разлетелась от ветра на куски, и на секунду Леонид подумал, что всё кончилось. Внутренний профессионал уже отмечал: структура повреждена, угроза нейтрализована, можно уходить. Но осколки фигуры, разлетевшись по углам, вдруг поползли обратно, стянулись к центру кабинета, и фигура собралась заново — крупнее, выше, теперь упираясь головой в потолок. На прозрачной поверхности отражался уже не только соннер, а весь рушащийся вокруг мир, вся школа, которая трещала и расползалась чернильным пятном по промокашке.

Тварь питалась разрушенным пространством сна. Каждая атака кормила её, каждый удар делал сильнее. Стеклойная поверхность мутнела, и в ней уже отражались не только стены, а целые коридоры, лестницы, потолки, втянутые внутрь.

Леонид развернулся и побежал к двери. Коридор за ней стал неузнаваем: стены текли, как расплавленный воск, линолеум горбился и лопался, и из прорех торчали обломки парт и стульев, будто школьная мебель пыталась прорасти сквозь пол и застряла на полпути. Стенды с расписанием уроков падали один за другим, и осколки витринного стекла зависали в воздухе, не подчиняясь гравитации, — время в

умирающем сне работало через раз.

За спиной нарастала волна — не звук, а ощущение: воздух густел и холодел, становясь плотным, почти твёрдым. Соннер бежал по коридору, который растягивался под ногами, становясь длиннее с каждым шагом. Логика кошмара: чем быстрее бежишь, тем медленнее передвигаются ноги. Леонид знал это правило. Но знание не помогало.

Лестница начала рушиться, когда он добежал до неё. Ступени проваливались одна за другой, перила гнулись и лопались с сухим хрустом. Соннер прыгал через провалы, хватался за обломки, падал, поднимался, бежал дальше и знал, что в чужом сне не побеждают. Но ноги сами несли дальше, и он позволял им себя нести.

Силы кончались. Ноги подкашивались, лёгкие горели, и сердце колотилось так, что казалось, вот-вот остановится, как у Олега. Холод настигал, Леонид чувствовал его на затылке, слышал тот тонкий звенящий звук, каким наполняется сон за секунду до гибели. После этого звука не просыпаются.

Тогда соннер сделал то, чего не умел никто из живущих. Леонид остановился посреди коридора. Посмотрел под ноги на линолеум, который пузырился и трещал. И ударил вниз, не кулаком, не ногой, а всем телом и весом, всей яростью разбить эту декорацию и добраться до того, что лежит под ней. Так бьют не по полу, а по дну. По дну чужого сна, под которым всегда есть ещё один этаж.

Пол раскололся.

Под школой, под мёртвым Петербургом Олега, под всей этой крепостью из камня и памяти зиял провал в темноту. Оттуда тянуло дизельным выхлопом и жареным тестом, холодным бетоном и дешёвым табаком, запахом тысячи городов, смешанных в одну субстанцию. Общий город сновидений. Подвал коллективного бессознательного, метро для тех, кто умеет им пользоваться.

Леонид прыгнул. Он падал в темноту, сжимая в кулаке листок из школьной тетради в клетку, на котором мелким плотным почерком мёртвого друга были записаны коды от миллиардов, — единственное, что он вынес из сна, умирающего у него за спиной. Где-то наверху рушилась школа, трещал Петербург, и последний мир Олега исчезал, как исчезает фотография, брошенная в огонь: сначала темнеют края, потом скручиваются углы, потом лица, и через секунду остаётся только пепел и память о том, что на ней было.

Глава 8. Кладбище

Леонид падал, может, секунду, может, меньше, ровно столько, чтобы понять: под школой Олега была пустота, а под пустотой ждало что-то твёрдое и безжалостное.

Асфальт принял его жёстко — Каруселин ударился плечом и локтем, проехался рёбрами по холодной шершавости, и только потом смог перекатиться на спину и вдохнуть. Воздух пах иначе, чем в Олеговом Питере: дизелем, жареным тестом из невидимого киоска и мокрым бетоном, и под всем этим тянуло холодным камнем и чем-то слегка металлическим, словно из вентиляционной шахты метро, которого здесь не было. Запахи тысячи городов, смешанные в один.

Бумажка с банковскими кодами была зажата в кулаке так крепко, что пальцы побелели и занемели. Леонид разжал руку, убедился, что мелкий почерк Олега на месте, и сжал обратно. Мятая тетрадная страница, которая в реальном мире станет ключом к миллиардам. Если он доживёт до утра.

Соннер встал, отряхнул колени и огляделся профессионально, быстро, по секторам, как учила Василиса. Общий город сновидений был именно таким, как она описывала: не Москва, не Питер, не Новосибирск, а что-то среднее между всеми городами, которые когда-либо снились его обитателям.

Здание на ближайшем углу одновременно напоминало

школу, вокзал и больничный корпус, не сумев стать ни одним из трёх до конца. Красный кирпич советской кладки переходил в стеклянные панели торгового центра, а те — в облупленную штукатурку коммунальной квартиры, и всё это держалось вместе внутренней логикой сна, которая ничего не объясняла, а просто требовала принять как данность.

Фонари горели ровным белым светом, который однако не доставал до асфальта и до лиц прохожих. Свет без освещения, стены без замысла — декорации к фильму, который забыли снять.

Спрайты двигались по петлям, точные, как заводные игрушки, и все были одного покроя — типичные уличные персонажи советской эпохи, холодные и целеустремлённые, с выражениями лиц, застывшими на долгие годы. Женщина в сером пальто с большой хозяйственной сумкой переходила перекрёсток размеренным шагом, поворачивала налево, шла полквартала и снова выходила на тот же перекрёсток, не поднимая глаз и не замечая, что идёт по кругу.

Мужчина в стёганой куртке закуривал у подземного перехода, затягивался, стряхивал пепел, доставал новую сигарету и закуривал снова, бесконечный цикл курения для того, кто разучился курить по-настоящему.

Леонид знал правила Общего города. Здесь можно было встретить живых соннеров в чужих снах, мёртвых, которые ещё не догадывались о собственной смерти, и случайных лунатиков, заплутавших в своих кошмарах. Здесь открывались

выходы в любую точку планеты, если знать, где искать, и здесь же можно было сгинуť навсегда среди петель и повторов, потеряв цель. Город не был враждебным, но и безопасным не был. Он наблюдал, без выражения, без участия, как наблюдает камера на фасаде здания, которое давно никто не охраняет.

Цель была простой: добраться до Ярославского узла, который в Общем городе существовал всегда и всегда оказывался где-то рядом. Василиса учила: все дороги ведут туда, куда нужно, если идти с намерением, а не со страхом.

Леонид выбрал направление не по компасу, компаса здесь не водилось, а по той внутренней тяге, которая просыпалась у опытных соннеров в чужих пространствах, как чутьё у слепой собаки, всё равно находящей дорогу домой. Пошёл мимо спрайтов и зданий-химер, мимо светофоров, переключавшихся для пешеходов, которых не существовало. Никто из спрайтов не поднял головы и не посторонился, никто не встретился взглядом.

Зеркальный соннер появился не из зеркала и не из стекла, просто стоял на тротуаре в сером костюме, среднего роста, среднего возраста, с лицом, которое забываешь через мгновение. Не потому что некрасивое, а потому что никакое. Подбородок как подбородок, нос как нос, глаза неопределённого цвета.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.